

ВРЕМЯ ИМБЭ 3 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЮ -
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ

*Наталья
МИХОЭЛС-ВОВСИ
"Убийство Михозлса"*



*Илья СУСЛОВ
"Прошлогодний снег"*



*Наталья РУБИНШТЕЙН
"Берлиозы - соратители
на пути России"*

Натан ИОНАТАН Стихи

ВРЕМЯ и МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 3 январь 1976

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Илья Сулов

"Прошгодний снег".....3

Григорий Цеплиович

Два рассказа.....86

Редьярд Киплинг

"Евреи в Шушане".....92

ПОЭЗИЯ

Александр Галич

"Притча"

"Песок Израиля".....97

Натан Ионатан

Стихи.....100

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Троппер

"Алия в зеркале психиатрии".....105

Александр Воронель

"Андрей Сахаров и современ-
ный мир".....120

Борис Орлов

"Миф о Фанни Каплан".....126

КРИТИКА

Наталья Рубинштейн

"Берлиозы — совратители
на пути России".....160

ИЗ ПРОШЛОГО

Наталья Михоэлс-Вовси

"Убийство Михоэлса".....173

СТРАНИЦЫ ЮМОРА

Юмор Марфы Семеновны Крюковой

"Сказание о Ленине".....198

Аркадий Аверченко

"Мозаика".....208

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

"Случай из жизни".....215

Коротко об авторах.....218

DIGEST OF THIRD ISSUE

OF "VREMIA I MY" ("TIME AND WE").....220

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон

Михаил Калик

Файна Баазова

Вадим Меникер

Георгий Бен

Борис Орлов (зам. гл. редактора)

Лия Владимировна

Наталья Рубинштейн

Егошуа А. Гильбоа

Йосеф Текоа

Илья Гольденфельд

Аарон Ярив

Михаил Занд

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.



Все права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам.

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2009 г.

Библиотека Александра Белоусенко

ПРОЗА

Илья СУСЛОВ



ОТ АВТОРА

Очень тяжело быть эфиопом.

Ну, идешь ты, скажем, по Воронежу, а все видят, что ты — эфиоп.

Думаете, что французу легче? Ничуть. Да будь ты трижды француз, хотел бы я на тебя посмотреть в гастрономе в Москве в Марьиной Роще, когда ты пытаешься объяснить продавщице, что тебе нужно двести грамм краковской колбасы, сто пятьдесят — любительской и десяток яиц по рубль пять.

Нелегко быть якутом. Ты якут, а все думают, что ты китаец. И всем интересно знать, что думает Мао Цзе-Дун о ближневосточных проблемах. А ты в этом деле ни бум-бум. Противно.

Я еврей. Еврею везде трудно. Ему плохо в Жмеринке. Ему очень трудно в Риме. Ему ужасно тяжело в Нью-Йорке. Его мучает Париж. Ему тошно в Монреале. Он везде — в гостях. Он везде - хуже татарина. Последнее

замечание-говорит о том, что быть татаринoм исключительнo тяжело.

Крoвавoе столетие, в кoтoрoм нам посчaстливилoсь жить, рaссeялo русскoх евреев пo белoму свету. Межвремeньe в Рoссии (я нaзываю межвремeньeм прoмeжутoк времени oт Стaлина дo нoвoгo Стaлина) дaлo вoзмoжнoсть мнe, русскoму еврейу, уехавшeму в Америку, нaйти читaтeлeй среди русскoх евреев, уехавшoх в Израиль. Ктo бы мoг пoдумaть, чтo Бoг дaст нaм тaкую вoзмoжнoсть? Нo Ему лучшe знaть, кaк нaм нaйти дoрoгу друг к другу. Иначe сидeли бы мы с вaми ктo в Одeсe, ктo в Мoсквe, ктo в Чeрнoвицaх, ктo в Тбилиси, ктo гдe, и все вмeстe мы бы дeлaли oднo бoльшoe нeнужнoe дeлo. И бoялись бы кaждoгo шoрoхa нa улoцe. И ждaли бы днa бoльшoх нoжeй. И дрoжaли бы зa ужaсную судьбу свoих дeтeй. И нe былo бы у нaс с вaми ни сeгoднaшнeгo, ни зaвтрaшнeгo днa. И стoяли бы мы в длиннoх oчeрeдях Рoссии зa хлeбoм, сaхaрoм, вoдкoй и счaстьeм. И, кaк вceгдa, все кoнчaлoсь бы зa нeскoлькo чeлoвeк дo нaс. И никoгдa бы мы нe знaли, чтo oчeрeди в Рoссии исчeзнут тoлькo тoгдa, кoгдa исчeзнeт oчeрeдь у мaвзoлeя Лeнинa.

Очeнь тeжeлo быть эфioпoм. И евреем быть тoжe тeжeлo.

Нo у нaс eсть Израиль.

И oт oднoгo этoгo ты чувствeшь сeбя чeлoвeкoм нa все стo прoцeнтoв.

Обстoятeльствa мoи слoжилoсь тaк, чтo я дoлжeн был eхaть в Америку. Будeм ли мы счaстливo здeсь? Ктo знaет? Ктo?

Нo я еврей. И вы, живущиe тaм, в Израилe, — мoи брaтья. Мoи друзья. Мoя сeмья. И мы нe будeм судить друг другa. Мы будeм любить друг другa. Пoтoму чтo мы — oднoй пoрoды, oдних нeсчaстий, oдних рaдoстeй и oдних нaдeжд.

И нaдeжды эти будeт сущeствoвaть, пoкa сущeствoвaет Израиль. А oн — нaвсeгдa. Пoтoму чтo, кaк учит

истoрия, пoлучeн oтвeт нa "еврейскoй вoпрoс". И oтвeт этoт — никoгдa бoльшe!

А пeрeд мoими глaзaми сeйчaс лицa мoих тoвaрищeй, oстaвшoхся в Рoссии, тeх, кoму дo сих пoр нe дaли уeхaть. Вы знaтe их имeнa, вы пoмнитe их глaзa, вы пoнимaтe, кaк им стрaшнo и тeжeлo тaм.

Пoтoму чтo сaмoe тeжeлoe — быть евреем в Рoссии.

Им, этим oстaвшoхся, я и пoсвящaю мoю мaленькую пoвeсть.

Илья Суслов

*"... Умирает мaртoвскoй снeг.
Мы устрoим eму вeсeлые
пoхoрoны".*

Б. Окуджaвa

1

У мeня зaбoлeл живoт. Снaчaлa я тeрпeл. Я думaл, чтo я съeл чтo-нибудь нe тo. А пoтoм внутрe мeня чтo-тo oбoрoвaлoсь, и бoль вырвaлaсь нaружy.

— Гдe бoлит, Тoлик?— встpeвoжeннo спрaшивaлa мaмa.

— Ой, всюдy, ой, бoльнo,— стoнaл я.

Пpилeтeлa "скoрaя пoмoщь". Дoктoр скaзaл: "Пo-мoeму aппeндикит", и мы пoмчaлись пo Мoсквe в пoискaх свoбoднoй кoйки в бoльницe. Дoктoр чeртьхaлся. Всюдy eму гoвoрили: мeст нeт. Нaкoнeц oн сдaл мeня в кaкую-тo бoльницy в Сoкoльникaх и oблeгчeннo скaзaл: "Выздoрaвливaй, шпингaлeт".

Я лeжaл в кoридoрe, зaжимaя рукaми бoль в прaвoм бoкy, и думaл o тoм, чтo будeт зaвтрa в шкoлe. Мaрия Влaдимирoвнa пo журнaлу будeт oтмeчaть пpисутствующoх. "Нeтy eгo!"— торжeствующe скaжeт Мaрик Хaзaнoв, мoй сoсeд пo пaртe. "Гдe oн?"— стрoгo спрoсит Мaрия Влaдимирoвнa. Мaрик сдeлaeт пoстнoe лицo, пoднимeт

глаза к небу и разведет руками. "Не кривляйся. Хазанов,— скажет Мария Владимировна.— Может быть, твой товарищ заболел, а ты рожи корчишь. Ты бы лучше узнал, что с Толиком". Марик скажет: "Позвольте мне, Мария Владимировна, сбегать сейчас к нему домой и узнать. Может, с ним что-нибудь случилось? Может, у него тетя заболела?" Мария Владимировна скажет: "Только быстро". (Она меня любит и боится за меня.) И Марик подмигнет Вовке Мулину, схватит шапку и побежит в кинотеатр "Перекоп" смотреть "Судьбу солдата в Америке".

"Вот гад!— подумал я, стискивая зубы.— Я лежу и умираю от аппендицита, а он в кино побежал. Тоже мне, товарищ".

Честно говоря, на его месте, я бы поступил так же, но сейчас мне было очень обидно.

В коридоре, где я лежал, было темно. Я чувствовал, что он весь заставлен кроватями. Всюду постанывали, вздыхали, храпели люди. Потом потолок, стал плавно опускаться на меня, лампочка в углу стала большой, радужной. Она горела все ярче, ярче, ярче... Я закричал.

Кто-то подошел, потрогал мне живот и сказал: "Немедленно на стол".

Меня положили на белую тележку и отвезли в операционную.

Мне было ужасно стыдно. Я лежал голый перед тремя девчонками моего возраста.

Я шепнул одной:

— Сходим в кино после операции?

Она сказала:

— Лежи уж. Разговорился. Сейчас чикнем тебя где надо, будешь потом ходить в кино без нас.

Девчонки захихикали.

Я сказал:

— Подумаешь, надела халат и воображает.

Вошла врачиха и сказала:

— Это кто у нас такой разговорчивый? Больной, в таком положении не назначают свидания девушкам.

Пока она говорила, мне сделали укол. Я вдруг испугался, что сейчас умру. Я сказал:

— Доктор, похороните меня на Красной площади.

— Типун тебе на язык, дурачок,— сказала доктор и полезла мне в живот чем-то холодным и твердым. Я потерял сознание.

— Ну, ты просто герой,— сказала доктор, похлопывая меня по щеке.— Через десять минут мы бы не досчитались еще одного болтуна. Ну-ка, погляди, что мы у тебя отрезали.

— Господи,— сказал я, — сколько еще дряни в человеке! На что ему аппендицит?

— Много разговариваешь,— строго сказала доктор, — тоже мне, Спиноза. Отправьте его в палату, пусть отдыхает. Следующий!

Палата у нас была большая. Мы лежали после операции, и, так как отходил наркоз, мы стонали, нам было больно. Наверное, это было очень смешно.

Тон всем задавал мой сосед справа.

— О -о-о! — тоненько подвывал он.

— Ух! — из правого угла выдыхал кто-то.

— М-м-м! — мычал я после него.

— Ах-х! — подхватывал эстафету сосед слева баском. В общем, хор Пятницкого.

К утру утихло.

Мы, измученные от бессонницы, озирались по сторонам и смотрели, кто же рядом.

Утренний обход совершал профессор Дунаевский. Говорили, что он брат известного композитора.

Он начал с койки моего соседа справа.

— Ну что, старик,— сказал он, посмотрев больничную карту и пощупав его пульс. — Ты долго еще будешь меня мучить? Ведь ты меня извел, чертов старик.

— Простите, профессор,— сказал старик справа. — Вы же умный человек, и знаете, как трудно решиться на такую операцию. Я должен посоветоваться с родными.

— Абрам Моисеевич,- загремел профессор,— не морочьте мне голову! Вы уже месяц советуется с родными.

Я сам вам сделаю эту операцию. Чего вы боитесь? Раз-два — и готово! Ну?

— Ах, профессор,— сказал старик справа.— Поставьте себя на мое место. Я старый больной человек. Мне семьдесят восемь лет. Когда вам будет столько лет, я хотел бы взглянуть, как легко вы будете решать жизненные вопросы. Я вызвал Ривочку из Днепропетровска. Как она скажет, так мы и сделаем. Ну, уже хорошо?

— Трам-тарарам!— сказал профессор Дунаевский. — Хорошо, подождем Ривочку.

— Дедушка, — сказал я, когда профессор, окруженный ассистентами и сиделками, вышел из нашей палаты, — дедушка, если вам до сих пор не сделали операцию, то почему вы стонали всю ночь, как будто вас изрезали вдоль и поперек?

— О! — сказал Абрам Моисеевич. — Еще один критик на мою голову. Я стонал потому, что мне было больно на вас смотреть. Когда мне будут делать операцию, ты мне поможешь стонать. Ну, ты понял?

По-моему, Абрам Моисеевич очень любил свою болезнь. У него была грыжа. Каждый день он давал телеграммы во все города Союза и за рубеж. Так как все родственники знали о грыже, он писал кратко: "Делать или не делать тчк Абрам Моисеевич".

Со всего света к нему шли ответные телеграммы. Он разделил их на три кучки. В одну кучку он положил телеграммы: "Делать", во вторую — "Не делать". Третья кучка включала в себя неопределенность: "Как хочешь", "Не знаю", "Мне бы ваши заботы", "Абрам, не сходи с ума". Эти телеграммы Абрам Моисеевич не любил. Он говорил: "Смотри, Толик, какие на свете есть равнодушные люди. Это даже не люди, это звери. Старый, больной дядя советуется с ними по жизненно важному вопросу. Что им стоит сказать "да" или "нет". Так им не жалко денег на такие дурацкие ответы. Толик, ты должен любить людей и не любить не людей. Ну, ты понял?"

Сосед слева был ровесником Абрама Моисеевича. Абрам Моисеевич его не уважал: "Это развратный старик, —

шептал он мне. — Ты не должен с ним общаться, Толик. Он — осколок капитализма в сознании людей".—"За что вы его так, Абрам Моисеевич?"—"А! — говорил Абрам Моисеевич. — Что это за человек, если у него на уме одни бабы?"

Я с опаской смотрел на соседа слева. Это была абсолютная сухая развалина. Он был смиренный и тихий. У него было что-то не в порядке с мочевым пузырем. Через день его навещала жена, маленькая аккуратная старушка.

"Машенька, дуся моя!" — каждый раз говорил сосед слева, встречая жену. Она присаживалась к нему на край койки и кормила его с ложечки чем-то сладким. Потом они ворковали, любовно заглядывая друг другу в глаза. Потом она уходила. Прямо, завидно.

— Машенька— это дуся, а не женщина,—говорил старик слева. — Это святая. Это ангел небесный.

Я не понимал Абрама Моисеевича в его неприязни к соседу.

— погоди, он себя еще раскроет! — шептал мне Абрам Моисеевич. — Ты совершенно не разбираешься в людях. Это попрыгунчик! Развратник он! Фу, какая гадость!

Старик слева интриговал меня ужасно. Я тоже тогда хотел быть развратником, но у меня еще не получалось. Девчонки из соседней школы, куда мы ходили на вечера, считали меня интересным мужчиной. Но стоило мне после танцев увлечь их куда-нибудь в уголок на пятом этаже, как они начинали бояться и разрешали только целоваться. Нет, меня положительно интересовал сосед слева!

— Иван Васильевич, — сказал я ему, — кем вы были до революции?

И старик слева рассказал. До революции у него было "заведение" на Петровке...

Он совершенно преобразился. Лицо его пылало, глаза горели внутренним светом. Он забыл про свой мочевой пузырь и вспоминал:

— А тут, значит, выписываю я себе испанку. Волос черный, вороной, глаз у нее так и блестит. Ноги — во!

Грудь— богиня! Исключительная женщина! А было у меня их шестнадцать. И все одна — в одну! Я, бывалче, загляну наверх-то, а они все уважительно: "Милости просим, Иван Васильевич!" Я тогда видный из себя был. Жилет у меня был бархатный, с цепкой. Опять же, усы, борода. Герой! Георгиевский кавалер, прямо! Бывалче, крикнешь, аж окны дрожат! А потом берешь Тамару, в сани ее, да медведем укроешь, да гикнешь — давай!

Старик слева распаялся, как спичечный коробок. Он размахивал руками, вскрикивал, подпрыгивал на своей кровати. Абраму Моисеевичу было противно на него смотреть. Он говорил:

— Моя дорогая покойница Берточка всегда говорила мне: "Никогда не связывайся с распутниками, от них на земле все горе". Берточка была умная женщина. Теперь я вижу, что она имела в виду.

— Абрам Моисеевич, — сказал я, — вы что, не знали других женщин, кроме Берточки, которую я очень уважаю?

— Что за вопрос!— воскликнул он. — Конечно! Посмотри на меня и теперь посмотри на эту развратную фигуру, и ты поймешь, как надо жить.

Я посмотрел на них обоих и решил, что они оба никуда не годятся.

"Что же делать? — думал я. — Как жить? Вот два старика на финише, кто из них прав? Я не знаю".

— И вообще, ты не должен слушать еще таких разговоров, — говорил Абрам Моисеевич, — ты еще маленький. Гражданин, — обращался он к Ивану Васильевичу, — я понимаю, что это ваша профессия — растление малолетних, но не забудьте, что мы в больнице и что революция, слава Богу, снесла ваш класс как класс.

— Видал, куды загнул, — горячился Иван Васильевич, — ты, дед, революцию не трожь, она, может, из меня человека, понимаешь, сделала.

— А! — шептал мне Абрам Моисеевич, — горбатого могила исправит...

И он кричал Ивану Васильевичу:

— Скажите мне, растленный старик, где они теперь, ваши испанки и ваши кони? И что бы вы делали в этом мире, если бы ваша супруга, которая не знает, что вы такое, не навещала вас в этой больнице? И что вы сделали для жизни вообще?

— Ты мене не обижай, — кричал Иван Васильевич, — у мене хоть есть что вспомнить. А ты-то что сделал, ты-то чем хорош? Портной ты и есть. Тоже мне, герой-летчик!

— Вот, Толик, — говорил Абрам Моисеевич, — этот человек не понимает смысла жизни. Он думает, что он меня обидел. Конечно, я портной. Но я — хороший портной. Когда человек надевал мой пиджак, его можно было сразу отправлять на выставку в Лондон. И у меня есть дети. Вы знаете, что такое дети, растленный старик?

Абрам Моисеевич доставал свои телеграммы и читал: "Делать. Яша".

— Это Яша. Когда ему было семь лет, он уехал к индейцам в Америку. Он сел на поезд и уехал в Америку, и мы с Берточкой снимали его с поезда. Вы знаете, что такое снимать с поезда своего ребенка? Сейчас он доктор. Он доктор математики. Пусть мне скажут, что Абрам Моисеевич не должен был снимать ребенка с поезда, чтобы он стал доктором!

"Подумай тчк Миша". Миша!

Как вы полагаете, растленный старик, может ли ребенок писать "подумай", если он сам ни разу не задумался! Ему говорили "надо", и он не раздумывал "надо" или "не надо". Если было "надо", он ехал и на Магнитку, и в Донбасс, и в Комсомольск, и к черту на рога. Я мог десять раз сказать ему "нет", но он один раз говорил "да" и ехал, и строил, и мучился, и приезжал заросший и говорил: "Папа, идет хорошая жизнь". И если Миша сегодня пишет папе "подумай"—значит, что-то случилось, значит, Мишу задели за самое сердце. Когда ему немцы оторвали на войне руку, он сказал: "Спасибо, что не оторвали вторую. Пока есть вторая, я еще пригожусь, я еще нужен".

И такой мальчик пишет "подумай". Вы это понимаете? А вы думаете, что Ривочка — это просто Ривочка? Нет,

она мать моих внуков! А вы думаете, что растить таких внуков — это просто? Попробуй вырасти такого Толика, попробуй выбей у него мусор из башки, чтобы он и думал, и не боялся, и был человеком! И все это сразу! А? То-то, старичок, не так просто жить. А я еще не видел детей Ривочки. Я должен их видеть, а там уже легче. Это мой корень, растленный старик...

Оба они мне ужасно надоели. Я занялся другими больными.

Однажды в нашу палату ввезли некое забинтованное с ног до головы существо. Существо храпело со страшной силой. Разбудить его мог только взрыв атомной бомбы над ухом.

— Что это? — ужаснулся Абрам Моисеевич.

— Под машину попал, — сказал санитар.

— Что же он так храпит?

— Да еще не протрезвел...

Спать под этот ужасающий рев было невозможно. Мы решили дожидаться пробуждения нашего нового соседа и узнать, что слышно в мире.

Утром он нам рассказывал:

— Ну, значит, получка. Мы с ребятами строились, значит. Ну потом, значит, еще поддали. Ну и пошли, значит. А тут грузовик — р-р-р! Я гляжу — вроде прошел грузовик-то и иду, значит. А он с прицепом, сволочь. Гляжу, а я-то между машиной и прицепом. Ну, он меня, значит, раз-раз, туда, сюда, я ору: "Стой, говорю", а он раз-раз. Двенадцать швов наложили... Так может строиться — я сбегая, раз такое дело...

Мой аппендицит заживал. Я уже мог бродить по палате, держась за бок. На место дядьки, попавшего под машину, нам прислали другого. (Наш потерпевший увечья дядька ночью не выдержал, разбинтовал свои раны и сбежал. У него горела душа, и без пол-литра он не мог. Он совершенно запугал Абрама Моисеевича, и тот из-за него был готов уже решиться на операцию. Да вот беда — сбежал дядька.)

Профессор Дунаевский уже всерьез сердился на Абрама Моисеевича. Тот занимал чужое место в больнице. Аб-

рам Моисеевич аккуратно раскладывал свои несчастные телеграммы. Ривочка из Днепропетровска приехала и сказала "делать". Зато какой-то болван из Малаховки написал "не делать".

Ночью Абрам Моисеевич разбудил меня и зашептал:

— Толик, давай сделаем так. Ты напишешь на одной бумажке слово "да", а другую бумажку оставишь пустой. Ты свернешь бумажки в трубочку, и я вытяну. Если я вытяну "да", так будет "да". Что я могу сделать?

"Ну ладно, старый черт, я тебе погадаю", — подумал я.

Я взял две бумажки, написал на обеих слово "да", свернул их в трубочки, перемешал в ладонях и протянул наивному Абраму Моисеевичу.

Он вытянул бумажку, увидел свое "да", охнул и затих.

А я безмятежно уснул.

Утром профессор Дунаевский просунул голову в дверь и сердито посмотрел на старого Абрама Моисеевича.

— Профессор, — сказал мой старик справа, — я говорю "да". Я говорю — делать.

— С праздником, — сказал профессор, — мы перешли Рубикон.

— Чему вы радуетесь? — грустно сказал Абрам Моисеевич. — Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Приехала белая тележка, старика с почетом погрузили на нее и повезли. Больные на губах исполнили гимн.

Абрам Моисеевич помахал рукой и уехал за дверь.

Прошел час. Другой. Третий... Старик не возвращался.

— Тетя Клава, — крикнул я в коридор нянечке, — давай следующего, наш Моисеевич, наверное, дуба дал. Молодого давай, веселее будет!

— Что ты там распорядишься, Толик? — раздался знакомый голос из-за двери. — Я тебе дам молодого! Не смей занимать мое место.

— Мать честная, — перекрестился Иван Васильевич, — гляди, Абрам-то живой едет. Вот живучий, черт окаянный.

— Ну что ж вы так долго, Абрам Моисеевич? — сказал я. — Тут уж и мысли всякие... Долго шла операция?

— Семь минут, — гордо сказал Абрам Моисеевич. — Этот профессор — настоящий академик.

— Семь минут? — удивился я. — Что же вы три часа не появлялись?

— Понимаешь, Толик, когда меня положили на этот проклятый стол, я стал думать: делать или не делать. Ну, теперь я буду стонать, а ты мне помогай. Ты понял?

За окном была ночь. Я лежал и думал:

"Вот Иван Васильевич. Он говорит: "Бери от жизни все, что попадет под руку". И он прав. А чего там? Живешь, живешь, и никакой тебе удачи. А Иван Васильевич вон сколько повидал. Он все знает, прошел сквозь все! А я? Что я видел-то? Или Абрам Моисеевич. Вот зануда! "Делать-не делать, делать-не делать". Операция шла семь минут, а он сто лет думает. Противно. Надо быть смелым и решительным. Сказал себе "да" и все! Делай, как решил! Иначе нельзя. Иначе проживешь жизнь, и ничего не увидишь. Как в черных очках. А жить-то всего осталось каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят лет. Разве это много? Мне вот семнадцать уже, а как пролетели годы! Оглянуться не успеешь. "Семь раз примерь..." Пока примеришь — уже время ушло... Ну вот, сейчас он стонать будет... Вот зануда!"

Абрам Моисеевич не стонал. Он лежал на спине, полужив желтые руки на одеяло. Его заострившийся нос не шевелился, глаза были широко открыты. Я наклонился к нему: он не дышал.

2

Я не попал в институт. Но как-то не чувствую себя виноватым, ну ни капельки. С пятого класса я почувствовал себя пригодным к чему-то гуманитарному. Поэтому я начисто забросил математику, физику и всякую там химию и всерьез занимался только литературой и историей.

Литературе нас учил Владимир Валерьянович. Он был странный человек. Когда в сочинении я по всем правилам написал, что "безродный космополит Сартр, поджигатель новой войны, должен сесть на скамью подсудимых", он,

тяжело вздыхая, сказал: "Шифрин, я понимаю, что эту фразу ты списал из вчерашней газеты. Это хорошо, что ты умеешь пользоваться материалами... Но где твое мышление? Зачем ты пишешь о вещах, о которых не имеешь ни малейшего представления?" Он поставил мне пятерку.

Однажды он притащил на урок книжку Зоценко и прочел нам несколько рассказов. Мы катались под партами от хохота, а Валерьяныч стал совсем серьезным и дал нам задание написать сочинение об особенностях языка Зоценко.

(Когда на уроке по военному делу я стал читать под партией другие рассказы Зоценко, то военрук, незаметно подкравшись, вырвал у меня из рук книжку:

— Ты что читаешь на уроке, Шифрин?

— Книжку.

Военрук посмотрел на переплет, побледнел и зловеще сказал:

— Так... Вот ты кого читаешь? Ты что не знаешь постановления об этом хулигане и враге?

— Врагов надо изучать,— глядя ему в глаза, сказал я.

— Ты что?.. Ты что говоришь?— испугался он.

— Это не я говорю, это Ленин сказал.

В классе с интересом смотрели на наш поединок.

— Понятно,— сказал военрук.— Подождите меня здесь.

Он побежал в учительскую.

Наш директор, Алексей Васильевич, сказал мне на перемене:

— Ты чего добиваешься? Ты зачем срываешь уроки нашему военруку? Смотри у меня, доиграешься...

Я не стал спорить, потому что видел, что он ругает меня понарошке...)

(Примечание автора.

Мне думается, что Толя Шифрин искажает факты. Подумайте, какой учитель в те годы мог принести на урок книжку Зоценко, да еще читать ее ученикам? После такого урока учитель должен быть немедленно уволен из школы за чтение запрещенной литературы! Впрочем, Бог его знает, может быть, и был такой учитель...)

В учебниках литературы Достоевский идет мелким шрифтом, и мы обрадовались, что можно не читать и не учить, а Валерьяныч посвятил этому Достоевскому два урока, а потом сказал:

— Телята, без Толстого, Достоевского, Платонова и Бабеля нельзя говорить серьезно о русской литературе.

Ну, я понимаю: Толстой — зеркало русской революции, но остальных трех у нас никто и не читал...

(Примечание автора.

Ну, это уж совсем недопустимо! Смешно думать, что учитель литературы посмел упомянуть на уроке имя Бабеля, арестованного и убитого как врага народа! Толя Шифрин и здесь, по-моему, ошибается...)

Мы все в десятом классе страшно изменились, стали какие-то грубые. Я говорил на собрании, что надо опять объединить школы — мужские и женские, потому что женщины в классе могли бы нас облагородить, но завуч сказал, чтобы я не валял дурака, потому что не мне обсуждать постановления правительства и без меня есть кому думать о таких вещах!

— Если что-нибудь будет решено, нас известят, — сказал завуч.

Тоска в школе последний год была смертная, и мы развлекались как могли.

Была у нас учительница по логике Асия Григорьевна. Я из-за нее в 10 классе получил четверку по поведению в четверти. У нее был такой платок, знаете, с бахромой. Я, Рафка Раскин и Ленька Кислаев договорились, что к концу месяца мы ей отрежем незаметно во время уроков всю эту бахрому. И мы как дураки резали эту бахрому. Всегда одинаково.

Я поднимал руку и говорил:

— Асия Григорьевна, у меня возник логический вопрос.

Она ужасно радовалась моей активности.

— Пожалуйста, Шифрин.

Я молол какую-то чушь, а Ленька и Рафка орали со своих мест:

— Ах, как интересно! Безумно любопытный вопрос.

Асия Григорьевна, откройте нам глаза, ведь то, что спрашивает Шифрин, все время волновало нас самих, но мы не могли сформулировать. Безумно интересно!

И мы обступали бедную Асию Григорьевну со всех сторон. Я смотрел ей в рот, пока она отвечала, Ленька со стороны отвлекал ее внимание, а Рафка сзади маникюрными ножницами срезал ей с платка бахрому. Вот дураки! Наконец она сообразила, что ее надувают, и выгнала нас из класса.

И мы, конечно, пошли в физкультурный зал на втором этаже покидать мячик. Дверь была закрыта, и нам пришлось лезть через дырку (зал со стороны окон и стеклянной двери был обшит фанерой, чтобы не разбили стекла, и лишь на высоте двух метров фанера отстала и была довольно большая дыра, такая, что мы могли пролезть в зал). И если бы пролезли, то из коридора никто не мог видеть, кто же в зале. Нас это вполне устраивало. И когда Рафка и Ленька залезли в зал, а я уже проник в дыру так, что голова и грудь были в зале, а ноги — в коридоре, — кто-то схватил меня за ногу. Я рванулся и кого-то ударил. И вдруг с ужасом услышал голос Алексея Васильевича, нашего директора:

— Ах, ты еще и драться?

Я скатился в зал и сказал:

— Ребята, я ногой стукнул Алешку. Если он нас застанет, то наверняка выгонит вон из школы.

И пока директор с нянечкой искали ключ, чтобы открыть зал, мы через окно по водосточной трубе спустились на школьный двор и побежали в класс через черный ход.

На перемене Алексей Васильевич обходил десятые классы и смотрел всем на ноги. Я ужасно боялся, так как был в сапогах (папины, военные). Он мне сказал:

— Зайди в мой кабинет.

Я зашел. Там было еще шесть человек. И все в сапогах. (После войны многие ребята еще носили отцовские сапоги.)

Вошел Алешка и сказал:

— Какой-то негодяй ударил меня сейчас сапогом. Кто из вас это сделал?

Мы все сказали:

— Ах-ах! Как все это могло быть? Какое безобразие! Алешка сказал:

— Перестаньте трепаться. Если вы признаетесь, то виноватого я исключу из школы, если нет — всех вас исключу. И не посмотрю, что вы десятиклассники. Позор какой, бить директора!

Мы сказали:

— Мы были на уроках.

Алешка сказал:

— По тому нахальству, с которым вы отказываетесь, я могу судить, что вы люди, совершенно потерявшие совесть школьника. Но я подозреваю, что это сделал Шифрин. Шифрин, я верно говорю?

Я сказал:

— Что вы, Алексей Васильевич. Что я, идиот, бить директора сапогом?

Алешка сказал:

— Вы слышите, как он отвечает? Его надо беспощадно выгнать вон из школы.

Тогда остальные ребята стали канючить:

— Простите его, Алексей Васильевич! Он больше не будет! Простите его, пожалуйста...

И я тоже канючил, и мы пели, как гнусавые нищие на паперти.

Алешка сказал:

— Ладно, но четверку в четверти за поведение я ему все равно влеплю.

И вlepил.

Но это все ерунда, потому что я все-таки подтянулся по учебе и хотел получить медаль. Задача была такая: получить четверки по алгебре, геометрии и тригонометрии и пятерки по всем другим предметам. И у меня бы все это получилось, если бы я не был таким ослом. Тут я должен рассказать про нашего физика. Он неплохой мужик, но жутко нудный. Говорит он всегда монотонно и

равнодушно. И его почему-то прозвали китайцем. Когда была консультация по физике перед экзаменом и он пришел в класс, я встал и сказал:

— Сергей Вадимыч, к нам сегодня нельзя.

— Почему?— спросил он монотонно и равнодушно.

— У нас сегодня облава на китайцев,— участливо сказал я.

— Хорошо, — сказал он, — я уйду, но пятерки по физике вам, Шифрин, не видать.

И ушел. Никто даже не засмеялся, а Вовка Мулин сказал мне:

— Ну и дурак.

У меня получилась лишняя четверка. И медаль мне не дали.

3

3

Я приступил к работе.

Типография у нас большая, новая, мы печатаем книги и брошюры для детей. Когда я в первый раз пришел к директору (его зовут Лев Яковлевич), он показался мне тихим маленьким невзрачным человеком. Он сильно карпит и никогда не смотрит на собеседника.

Я сказал:

— Здравствуйте, меня распределили к вам на работу.

Он сказал:

— Я слышал. Садись, мальчик, мы тебе сейчас придумаем должность.

Он нажал кнопку, вошла секретарша Галя.

— Позовите ко мне этих... Ну, вы знаете кого.

Пришли итеэровцы — мои будущие начальники и товарищи.

Лев Яковлевич показал на меня пальцем и сказал им:

— Этого мальчика распределили к нам после института.

Он дипломированный инженер. Куда мы его поставим?

Главный инженер сказала:

— Пусть идет диспетчером в отделочные цеха.

И я стал диспетчером.

Утром я прихожу на работу. Это делается так. Я просы-

паюсь под будильник. Это отвратительно, потому что самое сладкое — поспать после будильника. Я вскакиваю и несусь на кухню. Яичница. Это доступнее всего. Яичница с колбасой. Краковской. Я, стоя, со сковородки, сжираю яичницу и бегу на автобус.

Работа начинается ровно в восемь. Если я прихожу в три минуты девятого, табельщик пишет донос и меня казнят как прогульщика и лодыря. Задача — уложиться к восьми. Высунув язык, я мчусь по улице, чтобы до восьми отбить свой номер в проходной. Я влетаю во двор типографии — и все! Спокойно, засыпая на ходу, я медленно бреду в контору, сажусь за свой стол и сплю. Эти дремотные минутки прекрасны, — я грежу, я вижу какой-то чудный недосмотренный сон. Это время мое. Потом я сбрасываю оцепенение и вспоминаю, что я — диспетчер. Я должен обойти цеха, посмотреть, что идет сегодня на машинах, собрать наряды мастеров с выработкой за вчерашний день, подсчитать план, составить сводку и дать задание цехам на сегодня и завтра.

Конечно же я не могу сразу охватить все производство. Я всегда что-нибудь забывал. Поэтому на ежедневной летучке у директора я выглядел смешно и глупо. Директор относился ко мне снисходительно, но всегда издевался надо мной. "Встань, — говорил он мне на совещании. — Скажи, что мы шьем на "Кристензенах"?" А я не помнил, потому что не успевал обойти цеха. "На "Кристензенах" сейчас идет это... Ну, как его... Это..." — мямлил я. "Смотрите на него, — говорил директор, — смотрите на этого дипломированного болвана, он не знает, что идет на "Кристензенах". А что ты вообще знаешь?" И я не мог ничего возразить, потому что он был прав. Нас учили в институте чему угодно, только не работе на предприятии. Я молчал, виновато поглядывая на сочувствующих коллег, и тихо улыбался.

После работы я шел домой, думая о том, что я, наверное, бездарен, как пень. Что же делать, кто-то должен быть бездарен...

4

Я студент! Правда, у мамы прибавилось седых волос, папа стал совсем тихим, но это все позади.

А было так. Я вышел из школы без медали. Физик-таки сдержал свое слово. Он поставил мне годовую четверку.

Я сказал себе: "Ну и что? Миллионы детей по всей стране не получили медали, они будут сдавать экзамены и пойдут в вузы. Я ничуть не лучше других".

И я пошел поступать на редакционный факультет. Я полагал, что буду хорошим редактором. По секрету скажу, что я давно готовился к поступлению на этот факультет. Когда на уроках я выдавал что-нибудь новенькое, все ахали, а учителя говорили: "Посмотрите на Шифрина, у него голова на плечах". Но голова тут ни при чем. Просто, я читал не школьные нудные учебники, а вузовские. Ну, а с русским языком все было в порядке: учителя давали мне проверять диктанты и сочинения наших учеников. Каюсь, приятелям я ставил четверки и пятерки, даже Рафке Раскину, который писал "карова". Я был очень уверен в себе.

Конкурс в институте был большой — 12 человек на место. Вступительный диктант был "хитрый", и в каждом слове неподготовленный мог сделать от 2 до 5 ошибок. А я наизусть знал эти дурацкие диктанты: "Аполинария Никитична разожгла конфорку и отправилась на галерею..."

Диктант я написал здорово. А потом начались устные экзамены. Я отвечал как пулемет. Я знал все вопросы. Географ спросил: "Где расположено..?"

Я: тр-р-р!

Географ: "Правильно. Идите. Тройка".

Историк спросил: "Назовите мне, пожалуйста..."

Я: тр-тр-тр!

Историк: "Правильно. Идите. Тройка".

Литератор спросил: "Расскажите нам о..."

Я: тр-тр-тр!

Литератор: "Правильно. Идите. Тройка".

Они все поставили мне тройки! Я ходил как сумасшедший. В чем дело? Историк в коридоре мне сказал:

— Ничего не поделаешь. Так надо.

— Кому надо?

Но он уже отошел не оглядываясь.

Кажется, я начал понимать.

Они не хотели, чтобы я стал редактором! Они нарочно ставили мне тройки! И они сказали мне, что я не прошел по конкурсу. Я схватил свои документы и сунулся в другие институты. Куда там! Со мной даже не говорили! Я понял, что пропал. В этом году я провалился!

Я печально спускался по институтской лестнице, думая о том, что я, в сущности, очень несчастен. Навстречу мне шел председатель приемной комиссии.

— Что вы нос повесили, юноша?

Я сказал:

— Вы меня не приняли в институт. Что же мне делать?

Он сказал:

— Ну, расстраиваться еще рано. Идите на другой факультет.

— На какой факультет?

— Ну, скажем, на механический. Будете инженером-механиком. Вам очень пойдет.

— Да что вы,— сказал я, — ну какой я инженер! Я и предметов-то этих в школе никогда не учил, списывал всегда контрольные работы у товарищей. И вообще, я хочу стать редактором.

— Редактором — нельзя, — сказал он, — а механиком — еще можно. У нас недобор на механическом. Сдайте ваши документы на этот факультет.

— Какие там экзамены?

— Да ерунда: алгебра, геометрия, тригонометрия — письменно и устно, физика, химия и язык. Вот и все. Подумаешь! Даю вам на все целых 5 дней. Сегодня у нас 22 августа. Если все сдадите, с 1 сентября начнете учебу. До свидания.

И он пошел дальше, а я остался, лихорадочно сооб-

ражая, как мне поступить. Как только я подумал о том, что все ребята будут учиться, а я, несчастный, буду с утра до ночи шляться без дела, — я весь похолодел. Я хочу учиться! В конце концов, не все ли равно, кем быть? Буду механиком! Все равно высшее образование! Я хочу учиться!

Я побежал в приемную комиссию и подал документы на механический факультет.

Я вышел из дверей приемной комиссии и перевел дух. В углу толпилось несколько робких мальчиков в очках.

— Что сдаете? — спросил я.

— Физику, на механический, — уныло ответили они, откнувшись в толстые фолианты "курсов физики".

Я с тоской посмотрел на эту ужасную книгу и подумал, что я ее никогда в жизни не одолею.

— А как он принимает?

— Ничего, мужик неплохой.

Я выбрал среди этих очкариков одного, самого ученого с виду, и сказал:

— Я тебе переправлю записку, а ты мне передай шпаргалку, ладно?

— Ладно.

Я вошел в комнату и взял билет. Потом я сел за стол и добросовестно переписал содержание билета в бумажку. Потом я моргнул одному из тех, кто готовился к ответу, и незаметно подбросил ему бумажку. Он ответил преподавателю, вышел в коридор, и я стал терпеливо ждать моего очкарика. Через пять минут он вошел, взял себе билет и, проходя мимо моего стола, бросил мне на стол шпаргалку. Я изучил шпаргалку, ничего не понял, все переписал и пошел отвечать.

Когда ты отвечаешь по шпаргалке, надо вести себя так, чтобы преподаватель был абсолютно уверен, что ты знаешь предмет в два раза лучше его.

Я проговорил свою шпаргалку, делая ударения в тех местах, которые казались мне важными (в этих местах я смотрел преподавателю в глаза и говорил: "Понима-

ете?"). Третьим вопросом была задача. Очкарик написал мне решение, но я-то ничего не петрил, поэтому я сказал: "Необыкновенно изящная задача мне попала. Мне кажется, что я выбрал забавное решение. Посмотрите, пожалуйста, по-моему, это очень красивая формула. Не правда ли?" Преподаватель согласился со мной.

— Молоток! — сказал мне в коридоре очкарик. — Ну, ты даешь!

— Шифрин — пятерка, — сказал преподаватель, выйдя в коридор.

Я задрожал. Как же так? Значит, достаточно мне таким арапским путем сдать эти экзамены — и я инженер! Зачем же я готовился пять лет стать редактором?

— Когда химия?

— Завтра, — сказал очкарик. — Тебя как зовут?

— Толя Шифрин. А тебя?

— Виноградов Володя. Ты приходи пораньше. С тобой как-то веселее.

Дома я взял в руки химию за 8, 9, 10 классы.

Я любил нашу химичку. Она была старая, грузная и очень рассеянная. Ей дали орден за выслугу лет. Мы ее просили рассказать, как там, в Кремле. Кремль был большой тайной. Мы знали, что в Кремле живет Сталин. Когда мы проходили мимо Кремля и видели светящееся окно, кто-нибудь обязательно говорил с любовью и уважением: "Сталин работает".

Мы думали, что Сталин никогда не спит: окно в Кремле всегда светилось.

И вот химичка попала в закрытый для нас Кремль, чтобы получить орден. Она рассказывала так: "Мы подошли к Кремлю. Нас было много. К нам подошел какой-то человек и велел нам проходить в Спасские ворота. Мы пошли. Когда мы останавливались, к нам подходили очень вежливые молодые люди и говорили: "Проходите, проходите, не задерживайтесь". И мы вошли в большой зал. Там было много света. Откуда падал свет, мы не знали. И тут вошло правительство. И у нас всех было такое состояние, что хотелось кричать "ура!".

И мы крикнули "ура", и нам дали орден, высокую правительственную награду. А потом нас быстро проводили до выхода те же молодые люди. Я никогда не забуду этот день. Я очень-очень счастлива".

Опыты она проводила так.

"Возьмем правой рукой двумя пальцами вот эту пробирку, — говорила она. — Теперь левой рукой, тоже двумя пальцами, возьмем этот раствор и осторожно, без перемешивания, вольем его в первую пробирку".

Раздавался страшный взрыв. В химкабинете стелился вонючий дым, мы были в восторге. Рафка Раскин лежал на полу, изображая убитого. Ленка Кислаев стоял перед ним на коленях в глубокой скорби, я дирижировал, а класс хором пел песню: "Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его!"

"Ну, вот, — огорченно говорила химичка, — вы все наглядно убедились, что опыт не удался...".

Я смотрел на учебники химии и жестоко казнил себя за то, что никогда не учил предмета, который мне предстояло завтра сдавать.

Утром мы встретились с Вовкой Виноградовым и решили украсть билет.

Когда преподавательница вошла в комнату, мы уже стояли у стола, почтительно смотря, как она достает билеты и раскладывает их на столе.

— Простите, — сказал Вовка, — мы не слишком рано пришли?

— Нет, — сказала она, — сейчас я сниму пальто и можете тянуть билет.

Я помог ей снять пальто, а Вовка стащил в это время билет со стола и сунул его в карман.

— Мы еще немного поучим, — сказал я, и мы вышли в коридор.

Это был тринадцатый билет, и он был счастливый.

Я выучил ответы на вопросы наизусть и пошел отвечать. Сначала я решил пошалить. Дрожащими пальцами я стал щупать на столе билеты.

— Смелее, смелее, — сказала преподавательница.

Я скрестил ноги, сделал фиги на руках, зажмурился, три раза сплюнул через плечо и вытянул билет.

— Ну? — спросила она.

— Тринадцатый, — с ужасом прошептал я.

— Ничего, ничего, бывает, — улыбнулась преподавательница.

Я шатаюсь добрел до стола, сел, обхватил голову руками и застыл. Потом я спрятал в карман вытасченный мной билет и достал наш, тринадцатый. Все встало на свои места. Я успокоился и попросил разрешения отвечать.

— Видите, — сказала преподавательница, — не так все страшно.

Я лихо ответил на вопросы билета. Когда она задавала дополнительный вопрос о свойстве железа, я улыбнулся и рассказал ей о судьбе дочери великого химика Менделеева, которую любили замечательные поэты Блок и Белый. Она слушала с нескрываемым интересом. Мы с Вовкой получили пятерки.

Письменная математика прошла как во сне. Я смотрел на доску, испещренную знаками и цифрами, и понимал, что я абсолютный осел. "Ну, так и не попаду в институт в этом году, — думал я. — Такова жизнь. Се ля ви". На доске было два варианта, и Вовка писал левый вариант. Я должен был писать правый. Вовка, высунув от усердия язык, дописывал последние решения. Я взял ручку и списал у него все, что было в черновике. Я списал все закорючки, крестики, помарки и описки, я повторил все кляксы и зачеркивал цифры там, где их зачеркнул Вовка. Потом я плюнул и сдал свою "работу".

Утром следующего дня мы узнали, что Вовка получил четверку, а я — пятерку. Я сказал Вовке:

— По-моему, я типичный гений.

Он тут же согласился. Мне было приятно, что он не обиделся на меня из-за этой своей четверки.

На устной математике я было совсем провалился: у меня уже отобрали из-под стола учебник и шпаргалку (правда, я сказал, что это не мое), и преподаватель

косо смотрел на меня, как вдруг вошел какой-то тип и, пошептавшись с экзаменатором, весело сказал:

— Прощу, господа, ко мне отвечать.

Я рванулся к нему, не зная что говорить, с чего начать. У него были хорошие глаза. От него пахло пивом, он шмыгал носом и старался сделать серьезное лицо.

Пока он протирал очки, я скороговоркой пробубнил ему какие-то слова и замолчал, преданно глядя ему в глаза.

— Все? — спросил он.

— Все! — твердо сказал я.

— А третий вопрос?

Третьего вопроса я не знал.

И вдруг почувствовал, что смертельно устал. Мне стало все безразлично. И эта бессмысленная суета за право учиться, и эти дурацкие ухищрения, и все-все. И весь мир показался мне таким мерзким. Как будто я похоронил лучшего друга. И я подумал: "Ну их к черту! Поеду в Сибирь, на какую-нибудь стройку, или пойду куда-нибудь библиотекарем, или запью".

Преподаватель ждал ответа.

Я сказал ему тихо:

— Я не знаю третьего вопроса.

Он удивленно вскинул брови и посмотрел мне в глаза. Он смотрел на меня и вдруг мне показалось, что он что-то понял. В глазах у него появились смешинки. Он хмыкнул и спросил тихо:

— Как твоя фамилия?

— Шифрин, — сказал я, — я Шифрин, понимаете?

—Что же ты, Шифрин, — громко сказал он, — так славно отвечал, а на таком пустяке споткнулся? Не могу тебе ставить пятерку. Четверку тебе поставлю. Не стыдно?

Мои глаза наполнились слезами.

— Спасибо, — сказал я, — спасибо.

29 августа вывесили количество очков, набранных абитуриентами. Я стоял вторым. У меня было 23 очка из 25. Проходной бал был — 17.

Я ходил гордый как петух.

"Мы инженеры,— говорил я,— всегда смело решаем проблемы, поставленные перед нами". Я давал знакомым два пальца и отечески трепал их по плечу. "Вот помню, бывало, — говорил я, — чертишь что-нибудь выдающееся, а к тебе все лезут: объясните да объясните, дорогой товарищ Шифрин. Устал, знаете, все дела, дела, проекты...". Мне было хорошо. Я прошел конкурс. Я не опозорил маму. Я буду инженером.

Вышла секретарь и вывесила список принятых в институт.

"Пустите гениев и отличников, — кричал я, пробираясь сквозь толпу к списку. — Дайте взглянуть академикам на свою фамилию".

"Шилов, Шапкин, Яснов, Шилов, Шапкин, Яснов..."— вслух читал я.

Фамилии Шифрин в списке не было.

5

Сегодня меня вызвал Лев Яковлевич и сказал:

— Ты думаешь о чем угодно, только не о работе. Диспетчер из тебя не получается. Может быть, ты — гениальный работник ОТК?

— Может быть, — уныло сказал я.

— Я тебя назначаю старшим мастером ОТК, — сказал директор. — Ты будешь ходить по цехам и выявлять брак. Если ты найдешь брак на моем предприятии (что само по себе невероятно), то немедленно принимай меры. Мы должны выпускать продукцию самого высшего качества! Скажем браку — нет! Советская детвора должна получать книжки только хорошие! Мы должны...

Директор резвился как мог.

— Ладно, — сказал я, — я не выпущу ваш брак.

И я стал ОТК. Утром я обходил цеха и смотрел, все ли в порядке. Цеха гнали план. Мы должны были ежедневно выпускать 80 тысяч книг. Если их было меньше, со всех нас снимали стружку.

Клавдия Анисимовна, толстая и подвижная начальница брошюровочного цеха, всегда встречала меня у дверей цеха.

"Господи, кто к нам пришел-то, — ласково говорила она, закрывая своим телом груды бракованных книг. — Господи, Толенька, уж мы так рады, так рады..."

Я чувствовал себя, как милиционер, поймавший на шоссе "левого" шофера. Я был при исполнении. "Приветствую вас, мадам, — говорил я. — Как насчет брака?"

"Какого брака? — пугалась Клавдия Анисимовна. — Что ты, Толенька?"

Но я уже шел по цеху, зорко просматривая брошюры и книги, предназначенные к сдаче в магазины. Молодые работницы, улыбаясь, говорили мне: "Здравствуйте, Анатолий Саньч, что же вы к нам на танцы не ходите?"

"Здравствуйте", — угрюмо бурчал я, разглядывая продукцию.

Брака было много. Но это был "допустимый брак". Это был брак, который мы ежедневно видим на прилавках магазинов. Мы и не подозреваем, что это брак. Но вы уж мне поверьте — это брак. И тут мой глаз упал на стопку брошюр, на которых было написано: "Тыков-Щедр".

— Клавдия Анисимовна! — запел я. — Подойдите ко мне, голубушка. Что бы значило это "Тыков-Щедр"?

— Господи, — сказала Клавдия Анисимовна, — думаешь, невидаль. Это написано, что книжка называется "Салтыков-Щедрин".

— Где вы видите "Салтыков-Щедрин"? — заорал я. — Здесь написано "Тыков-Щедр", а остальное зарезано на машине, где у вас работает пьяный резальщик или черт знает кто. — Я запрещаю сдачу этой книги в экспедицию. Ферштейн зи?

— Да ты что, Толя, — серьезно сказала Клавдия Анисимовна. — Да ты, кажись, хочешь мне план сорвать? Ты что, хочешь мастеров без прогрессивки оставить?

Ты лучше посмотри, что в переплетном цехе делается. Вот где брак. А ты... Нашел, что браковать...

— Мадам, — сказал я железным голосом. — Я получаю зарплату за то, чтобы вы выпускали продукцию самого высшего качества. Скажем браку — нет! Советская детвора должна получать книжки только хорошие! Мы должны...

Но тут распахнулась дверь, и в цех вошел Лев Яковлевич, окруженный сверкающей свитой. По правую его руку шла главный инженер, бросавшая грозные взгляды по сторонам: все ли чисто? По левую его руку шла начальник производственного отдела, красивая женщина, имевшая право говорить правду в лицо директору. "Лев Яковлевич, — говорила она, — вы не правы! Этого работника надо наказать гораздо сильнее!"

Немного поодаль шествовал механик Сидоров. Он уже был под мухой, и его задачей было: во-первых, — не упасть, во-вторых, — починить тот или иной сломавшийся станок. Сзади, на почтительном расстоянии, следовали диспетчеры, мастера и общественные организации. Шествие замыкала Клара Абрамовна — начальник ОТК.

Клавдия Анисимовна метнулась к директору и стала что-то шептать ему на ухо, показывая глазами на меня. Глаза ее вращались, как колеса велосипеда.

— Где? — тихо спросил Лев Яковлевич.

Я не любил, когда он говорил тихо. Когда он говорил тихо, это значило, что кому-то сейчас будет плохо.

Не глядя на меня, он подошел к стеллажу с бракованным "Тыковым-Щедр".

— Ну и что? — спросил он, глядя мне прямо в нос. — Что ты здесь нашел, Шерлок Холмс?

— Это брак, — твердо сказал я.

— Где брак?

— Вот это брак.

— Угу. А это не брак? — он ткнул пальцем в стопку книг, предназначенных для экспорта.

— Это не брак.

— Какой ты еще молодой, — сказал директор. — Что ты не видишь своими молодыми глазами, где брак, а где не брак? Вот это брак — запрети его, — он кивнул в сторону экспортных книг, — а это, — кивок в злополучного "Тыкова-Щедр", — это выпусти. Ты меня понял, мальчик?

— Нет, — сказал я, — я вас не понял. Тут все наоборот. Мы должны...

— А я тебя с работы сниму, хулиган, — тихо сказал директор. — Ты у меня узнаешь, как пререкаться. Кто директор, ты или я?

Свита смотрела на меня печально и осуждающе.

— Вы, — сказал я, — вы директор.

— Мальчишка, — кричал Лев Яковлевич, — Клара Абрамовна, увольте его скорее! Я ему говорю, где брак, учу его, а он, вместо благодарности, спорит с директором. Как вам это нравится, Клара Абрамовна?

Клара Абрамовна подошла ко мне и шепнула:

— Не будьте дураком, сделайте, как он говорит.

Но мне уже попала жожа под хвост, и я свирепо продекламировал:

— Я ОТК, что в переводе значит технический контролер. Это значит, что я должен стоять насмерть и не давать фабрике позориться. Я не могу выпустить этот брак. И я его не выпущу!...

Бракованный "Тыков-Щедр" попал на книжную базу. Через два дня зазвонил телефон, и вкусный нахальный баритон сказал:

— Так, вы что же это выпускаете, голуби? Брачок гоните? Актик на вас составим. Штрафик вам пришлем. ОТК у вас того, ушки развесил.

"Ну и черт с ним, — зло думал я, бросив трубку. — Я их предупреждал. Я же знал, что так будет. Клавдия Анисимовна записала себе выполнение плана этим "Тыковым-Щедр", а теперь будет рекламация... Пусть директор выкручивается, мне-то что?"

Я злорадно написал докладную, которая кончалась словами: "... о чем я в свое время предупреждал".

— Зайди к директору, — сказала мне секретарь Галя, проходя в столовую.

— Кого я вижу! — вскричал директор, когда я переступил порог.— Молодежь, так сказать, наше будущее! Как тебе работается? Не дует?

— Дует, — сказал я, — мы еще поплачем с этой брошюрой.

— Как это, поплачем? — удивился он. — А ты зачем пропустил этот брак?

Я задохнулся от негодования.

— Ай-яй-яй, — сказал директор, — ты сейчас лопнешь. Ишь, как он надулся. А еще инженер. Ты не дуйся, а исправляй свои ошибки. Поезжай на склад и сделай так, чтобы этот брак нам тихо и спокойно вернули. Скажи, что мы все исправим. И никаких актов-шмактов. Новая мода — акты писать...

— Они все равно составят акт, — сказал я.

— Они люди, мальчик, а люди — всегда люди.

— Конечно, — сказал я, — люди — всегда люди, звери — всегда звери, дома — всегда дома, книжки — всегда книжки, дети — всегда дети. Это точно.

— Не будь дураком, — сказал директор. — Ты отлично знаешь, что я имел в виду. Ты возьмешь подписное издание Майн-Рида в 6 томах и поедешь на книжный склад. Там ты возьмешь бракованного Щедрина и привезешь его на фабрику.

— А куда я дену Майн-Рида?

Директор нажал кнопку, вошла секретарша Галя.

— Кто там еще ко мне? — спросил директор.

Я вышел, взял машину и поехал на склад, держа на коленях аккуратную пачку Майн-Рида.

Обладатель вкусного баритона оказался великим арапом. Он был большим мастером своего дела и тут же спросил:

— Ну, чего привез?

— Майн-Рида, — прямо сказал я. — Я тебе Майн-Рида, ты мне Салтыкова-Щедрина и никаких актов.

— Я порядочный человек, — обиделся баритон.

Совершив эту внутрисоюзную торговую операцию, мы раскланялись, и я вернулся на исходные рубежи, довольный своей работой.

— Молодец, — сказал директор. — Но прогрессивки я тебя все равно лишу, потому что ты выпустил с фабрики брак.

6

Фамилии Шифрин в списке не было...

"Черт возьми, — говорил я. — Эти машинистки вечно что-нибудь напутают. Не включить в список абитуриента, гениально сдавшего вступительные экзамены — это верх халатности". На душе у меня скребли кошки. Я чувствовал, что так будет.

— Представляете, какая смешная история, — сказал я декану. — Моей фамилии, по вине машинисток, нет в списке принятых в институт.

Декан улыбнулся и сказал:

— Нет, товарищ Шифрин, машинистки здесь ни при чем. Это мы решили отказать вам в приеме в институт, так сказать...

— Как же так, — забормотал я, — тут какая-то путаница, — я ведь набрал 23 очка из 25.

— Тут дело вот в чем, — растолковывал мне декан, — мне, видите ли, сказали, что вы поступали на гуманитарный факультет. Верно, да? Следовательно, у вас гуманитарные способности. У нас, видите ли, нет уверенности, что вы будете учиться на нашем факультете, и мы решили, так сказать, воздержаться от приема вас в институт.

— Позвольте, — сказал я, — существует конкурсная система, я сдавал экзамены и набрал необходимое количество очков. Я должен быть принят! Я хочу учиться!

— Товарищ Шифрин, — поморщился декан, — я, видите ли, ясно изложил суть дела, так сказать. Вы получите справку, что не прошли по конкурсу.

Мне хотелось вцепиться в его холеную рожу, мне хо-

телось убить его, разорвать на нем одежду. Я чувствовал, что погибаю. За что? За что?

— Я знаю, почему вы не принимаете меня в институт,— прошипел я, приблизив свое лицо к его лицу.—Я знаю, и я не оставлю этого дела. Я к Сталину пойду.

Он посмотрел на меня ненавидящими глазами и спокойно сказал:

— Пожалуйста, товарищ Шифрин. Это, так сказать, ваше право.

Я не помню, как вышел из института. Перед глазами были красные круги. Мама, мамочка моя... Что же я скажу маме? Что я им сделал? Что я им сделал? Что я им сделал?

Я шел по Садовой. Садовая казалась мне местом прогулок в тюрьме. По кольцу, по кольцу! Не разговаривать! Руки назад! Фу, какой бред! Что я им сделал? Куда идти? К Сталину? Но у него столько дел, что ему до какого-то мальчика, не принятого в институт? И смею ли я отрывать Сталина от работы! Ах, если бы он знал, какие есть на свете сволочи, он бы им дал! Но они, гады, пользуются тем, что Сталин занят, и пакостят, пакостят! Что же мне делать?! Я пойду в Министерство высшего образования. Я приду к министру и скажу ему: "Товарищ министр, у нас творятся странные дела. Помогите мне, товарищ министр. Я хочу учиться!" Он мне скажет: "Да, товарищ Шифрин, с вами очень несправедливо обошлись. У советской власти еще много врагов. Благодарю за то, что вы помогли их выявить". Потом он возьмет трубку и позвонит товарищу Сталину. "Иосиф Виссарионович, — скажет он, — тут нам товарищ Шифрин рассказывает интересные вещи, происходящие в наших институтах. Каково будет ваше указание, товарищ Сталин?" И Сталин скажет: "Накажите тех, кто мешал товарищу Шифрину, и примите его в институт, товарищ министр". Господи, о чем это я? Что же мне делать? Что же мне делать?.. Ах да, министерство...

У входа в министерство стояла огромная очередь.

Стояли мальчики и девочки, с родителями и без родителей, блондинки и брюнеты, в очках и без очков, толстые и худые, хорошо и плохо одетые. И все они не попали в институт.

— Сколько у тебя очков? — спросил я одного, другого, третьего..

— Двадцать девять из тридцати... МАИ.

— Двадцать четыре из двадцати пяти. МВТУ.

— Золотая медаль. МГУ.

Они стояли безмолвной цепочкой, прижимая к груди учебники и глядя перед собой невидящими глазами. И я тоже встал в конец этой странной очереди и стал таким же, как и они, и все мы были похожи на братьев и сестер, столпившихся у подъезда большого дома.

— Тебя почему не приняли?

— Не знаю...

— Да ерунда, — говорит толстый парень в белом шарфике, — мой батя позвонит кому надо, — и все будет о'кэй!

— Тебе хорошо, — тихо говорит парнишка в очках, — у тебя есть кому звонить...

— Ну и твой пусть позвонит, — кипятится толстый,— если бы у меня было столько очков, как у тебя, я бы знаешь что сделал!.. Твой отец где работает?

— У меня нет отца, — говорит парнишка в очках.

— Что, на войне убили?

— Нет... Он в Сибири... работает...

Девушка в розовой кофточке, волнуясь рассказывает:

— Мой папа пропал без вести на фронте. Но мама говорит, что он жив... У меня медаль...

— Странно...

Брюнет, не отрывающий глаз от книжки.

— Ничего странного. Мне отец все твердил: будь инженером. А я хотел стать критиком. Не судьба, видать...

— А тебя почему не приняли, Шифрин?

— Не знаю, — говорю я и выхожу из толпы.

Через две недели я попал к какому-то крупному

чиновнику в министерстве. Он ел яблоко, хрустящее звонкое яблоко.

— Ну что там у тебя? Быстро, — сказал он, со вкусом хрустя своим яблоком.

Я рассказывал, а он смотрел на это яблоко и, выбирая места повкусней, впивался в него зубами, и чмокал. Когда я кончил, он проглотил семечки и сказал:

— Правильно они сделали. Я лучше бы чучмека какого-нибудь взял бы, а не тебя...

— Почему?

— Чучмек хоть после окончания работать будет, а ты...

— Господи, — простонал я, — я тоже буду работать. Примите меня. Я же все сдал. Я же заслужил.

— Нет, — сказал он, — нельзя. Все!

И я вышел из кабинета и заплакал. Я понял, что мне ничто не поможет. И слезы не приносили мне облегчения.

А случай уже шел по коридору. Он был одет в потертый шевиотовый костюм, у него были нечищенные ботинки и лысина.

— Ты что плачешь, мальчик? — спросил он.

— Они меня не приняли в институт, — сквозь слезы сказал я.

— Как твоя фамилия, мальчик? — спросил он.

— Шифрин.

Человек вздохнул и сказал:

— Зайди ко мне.

На его двери было написано: "Начальник личной инспекции министра".

Он взял мои бумажки и сказал:

— Позвони через две недели.

Две недели я шлялся по улицам. Две недели я не находил себе места. Все мои товарищи учились, а я шлялся по улицам. Я стал какой-то ненормальный. Я все время думал о человеке в шевиотовом костюме. Когда я позвонил ему, он сказал:

— Ты пойдешь учиться в заочный институт. И не на механический факультет, а на технологический. Ничего?

Господи, механический, технологический, географический, кубический, — какая разница! Я буду учиться! Я буду учиться! Я буду учиться!

— Спасибо вам, — сказал я. — Спасибо вам.

А мальчики и девочки все еще стояли у подъезда большого дома, глядя прямо перед собой невидящими глазами...

7

Я кончал работу в 6 часов. Вернее, я должен был кончать в шесть. Но так почему-то не получалось. Всегда в цеху были какие-нибудь неполадки, требующие моего вмешательства. Я задерживался, клялся, что завтра, черт возьми, я уйду вовремя. До каких пор это будет продолжаться? Я здоровый, молодой парень, мне о невестах думать, за барышнями ухаживать, с приятелями кутить. А я сижу как дурак сверх положенного и вынужден доругиваться, доделывать, доглядывать, доорганизовывать... Я выходил из проходной и тихо брел к троллейбусу. Я заходил по пути в книжные магазины, покупал книжки, трепался с продавщицами. Мне было очень одиноко. Потом я ехал домой.

Я давно заметил ее в автобусе. Каждый день в одно и то же время я садился в свой автобус, чтобы ехать на работу. Она всегда сидела в углу на последней скамейке. Когда я входил, она опускала глаза в книгу. Она выходила, а я ехал дальше и смотрел через окно, как она летела к метро. Когда я опаздывал на этот автобус и на ее месте сидел кто-то другой, мне было не по себе. Однажды она оторвалась от своей книжки и внимательно посмотрела мне в лицо. Я в это время, как всегда, разглядывал ее и мысленно разговаривал с ней. Глаза у нее оказались голубые и удивленные. Мы смотрели друг на друга, и она проехала свою остановку. Она ахнула, выскочила из автобуса и побежала к метро. А я, пораженный, поехал на работу, размышляя о том, как странно я себя чувствую.

В цеху был прорыв. Весь месяц шла дешевая продукция. Мы выкручивались, давали по 150% — денег не было. Мы просили издательство о более дорогой работе — издательство отказывало. План был под угрозой. И когда мы уже решили махнуть рукой на все (что ж можно сделать!), директор вызвал меня и сказал:

— Почему я должен все время думать за тебя? Не будет плана — останетесь без премии.

— Вы же сами знаете, Лев Яковлевич...

— Я все знаю, — строго сказал он. — Я всегда все знаю. Ты будешь печатать рыб.

— Каких рыб?

— Есть такой заказ от какого-то чудного издательства. Надо отпечатать в цвете сто всяких рыб. Это дорогая работа. Это твой вал. Иди и — получи клише.

— Благодетель вы наш, — запел я, — Бог вам все зачет...

— Бога нет, — сказал директор, — если бы был Бог, он бы не допустил, чтобы ты мне мозолил глаза столько времени...

Я побежал печатать рыб.

Мы договорились с мастерами, что выжмем из этих рыб все, что можно.

— И что нельзя, — сказал мастер Белов.

И мы "погнажи" рыб. Это было похоже на паутину. Изо всех углов в цехе на нас глядели рыбы, красные и синие, фиолетовые и желтые, тощие и жирные, в анфас и в профиль. Мы потирали руки и записывали в план "валовой" улов. И тут я зарвался. Я решил на приписку. Я думал, что, если я запишу на рыбах лишний прогон, этого никто не заметит, а мы спокойно будем работать в будущем месяце. Без паники и штурмовщины. Мы припрячем показатели "по валу", а в будущем месяце будем потихоньку сдавать в план необходимые деньги.

Мы прекрасно закончили месяц, получили переходящее знамя и уже собирались мирно почить на лаврах, "передохнуть", как говорил мастер Белов, как вдруг

нас поймали. Нас поймал Николай Семенович, старая крыса. Он знал полиграфию от корки до корки и уж, конечно, разглядел наш лишний прогон. Тем более что мы его не делали. Николай Семенович поднял скандал.

— Ужас! — кричал он.— Это что же делается! Молодежь, а жулик! Это он кого хотел обмануть? Меня? Я собаку съел, а он подкатывается с голубыми глазами! А вдруг ревизор! Кто в тюрьму? Николай Семеныч? Нет уж, увольте! Я и в тридцать седьмом не сидел. Умный нашелся!

— Не базарь, Николай Семеныч,— сказал я. — Просчет вышел. Не разглядели мы и ошиблись. Исправимся. Что я себе, что ли, брал? Я государству...

— Шифрин, к директору, — сказала секретарь Галя, проходя в столовую.

Директор был тих, как украинская ночь. Он смотрел в окно и барабанил пальцами по стеклу.

Поодиночке стали собираться начальники. Когда все собрались, директор тихо сказал:

— Ну, с этим жуликом, обманщиком и паразитом я знаю, как поступить: он прямо отсюда пойдет в тюрьму. Но вы куда глядели?! Помощники на мою голову! Любой мальчишка может их одурачить, если захочет. Позор! Сорок лет работаю, таких ротозеев не видел. Ты зачем это сделал, Шифрин? Отвечай коллективу!

Что я мог сказать? Я был не прав.

— Я был не прав, Лев Яковлевич, это я по молодости лет.

— Какая это молодость, рецидивист? Сейчас же отдай то, что ты украл у государства.

— Жалко, Лев Яковлевич, — сказал я, — ведь это в план.

Директор фыркнул и сказал :

—Хорошенькие методы. Он ворует у государства из правого кармана, чтобы положить в левый. Я тебя измордую, Шифрин!

В общем, настроение было омерзительное.

Я сел в автобус и сразу увидел ее. Я впервые столкнулся с ней по дороге домой. Она заметила меня, я это чувствовал, но не отрывала глаз от своей проклятой книги.

Когда мы подъехали к моей остановке, я вдруг взял ее за руку и вывел из автобуса. И мы пошли.

— Почему ты пошла со мной?

— Не знаю.

— Почему ты такая?

— Мне страшно.

— Ну что ты? Чего ты боишься?

— Не знаю.

— Ты красивая.

— Я хочу любить.

— Почему же ты не выйдешь замуж?

— Глупый, я же сказала, что хочу любить.

— Полюби меня. Я так хочу, чтобы меня полюбили...

— У тебя хорошие глаза.

— Не смейся надо мной...

— Что ты! Я говорю правду.

— Почему ты пошла со мной?

— У тебя хорошие глаза. А ты любишь оперетту?

— Ненавижу.

— Я тоже. Я хочу, чтобы ты был талантливым.

— Зачем?

— А я буду тебе помогать. Ну вот, ты будешь писать книгу, а я буду сидеть рядом.

— Я не умею писать книгу.

— Ну, тогда ты изобретешь машину. А я буду чертить тебе ночью...

— Глупая, я никогда не изобрету машину.

— Ну и не надо. Ты будешь читать газету, а я буду смотреть на тебя. А потом ты уйдешь далеко-далеко... А я буду ждать. Ждать... ждать... и верить... И ты вернешься домой. А я буду стоять у дверей. А потом я укурю тебя и, когда ты уснешь, буду смотреть на тебя...

— Глупая...

— Ты знаешь, как страшно все время ждать?

— Конечно, знаю. Я и сам все время жду.

— Ты не уйдешь от меня? Не уходи. Пожалуйста. Я не могу, чтобы ты ушел...

Мы не сказали друг другу ни слова. Я боялся, что она что-нибудь скажет и все разрушит. Но она тоже молчала.

И мы пришли ко мне домой, и я поцеловал ее. И потом еще я долго целовал ее. А потом она ушла...

И мне было так хорошо, как будто я вернулся на Родину после долгой-долгой разлуки с ней...

8

На заочном факультете нас таких было пятеро. У нас была примерно одинаковая судьба, и мы вцепились в учебу, как будто приехали из голодного края. Мы правлялись с предметами, как боксеры тяжелого веса с новичками. К концу первого семестра мы уже досрочно сдали все за первый курс. Теперь мы смогли оглянуться по сторонам.

Что же было впереди? Впереди была армия. Она постучала в мою дверь и тоном повестки из военкомата приказала явиться для несения службы. На заочников не распространялась льгота, предоставленная студентам-очникам. Заочники должны были служить. Я явился в военкомат.

— Товарищ Шифрин, — сказал мне майор, — пойдете служить в танковые войска. Нравится?

— Не очень, товарищ майор.

— Почему?

— Безотчетное чувство, товарищ майор.

— Ну, ну, не крути, Шифрин. А во флот пойдешь?

— Учиться хочется, товарищ майор.

— Учиться? А что ты думаешь, пошлем тебя учиться. По спецнабору. В высшую мореходку, а?

— Образование там высшее?

— Высшее инженерное.

Я представил себя: я надеваю клеши, тельняшку, бескозырку... Девушки идут навстречу. "Кто этот ли-

хой моряк? Смотрите, да это Толя Шифрин. Ах, как он возмужал! Тяжело служить. Толя?— "Да как вам сказать? Труднее всего, когда на море баллов 9. Ты стоишь на мостике, весь продрог, но крепко держишь штурвал. Так держать! Что вы, смеетесь? Это вам не какая-нибудь сухопутная мямля. Это не шутка... "На нас девчата смотрят с интересом, мы из Одессы моряки"..."

— Ну так как, Шифрин? Даю направление на врачебную комиссию.

— Так точно, товарищ майор!

— Ну, вот, совсем другое дело.

По Москве в мореходку отобрали человек пятьдесят. Всех нас послали на врачебную комиссию. Комиссия забраковала сорок восемь человек. Пропустила двоих, меня и еще одного, самбиста. Я был худ как жердь, на меня можно было смотреть только в профиль — фаса не было. Доктор пощупал мои тощие мускулы и сказал:

— Мясо на флоте нарастет".

— Ты, Шифрин, счастливчик, — сказал майор, — такую комиссию проскочить! Теперь все. Придет начальник отдела кадров мореходки, каперанг. Ты с ним побеседуешь — и с Богом!

Каперанг приехал через три недели. Он принимал нас в военкомате. Я уже чувствовал себя заправским моряком. Когда он меня вызвал, я щелкнул каблуками, вытянулся в струнку и отрапортовал:

— Шифрин Анатолий, явился по вашему приказу!

Каперанг полюбовался мной из-за стола и отечески пробурчал:

— Лихой будет офицер... Готовы, товарищ Шифрин?

— Так точно, товарищ капитан первого ранга!

— Хорошо. Майор, принесите-ка мне личное дело товарища Шифрина.

Майор побежал за моим делом, а каперанг беседовал со мной за жизнь: живы ли родители, как учился в школе, как насчет дисциплины.

Майор принес папку, каперанг ее открыл, заглянул

в анкету, и вдруг челюсть у него отвалилась и глаза стали совсем круглыми. Он посмотрел на майора и сказал ему:

— Вы что, майор, с ума сошли?

— Что такое?

— Да ты что? Ты что... — он увидел меня. — А ну, марш в коридор, вас вызовут.

Я стоял за фанерчатой дверью и слышал их разговор.

Каперанг: Ты что мне подсовываешь, майор? Порядка не знаешь?..

Майор: Виноват, товарищ каперанг, недоглядел! Да и рожа у него непохожая.

Каперанг: Рожа! Сюда смотреть надо, здесь все написано. Без глаз, что ли?

Майор: Виноват, бывает! Что же с ним теперь делать?

Каперанг: Как что? В армию отправь, в пехоту.

Майор: Я его в среднее танковое. Шифрин! Зайдите.

Я вошел. Рот до ушей. Белоснежная улыбка. Швейк.

— Вы чего улыбаетесь, Шифрин, — строго сказал майор.— И стоите как? Так вот в Высшем мореходном уже, к сожалению, закончен набор. Мы направляем вас в танковое училище.

— Никак нет, майор, — продолжая улыбаться, сказал я.

— Это что такое "нет", — взорвался майор. — Пошлем — и пойдешь!

— Никак нет, майор! — упрямо повторил я.

Мне было очень плохо. Какой-то комок у горла мешал мне говорить. Улыбка как будто приклеилась к моему лицу. Я не мог ее убрать.

Как отдаленный морской прибой я слышал выкрики майора: "Повестка... С вещами... Не уезжать..."

На улице была весна. Вдоль тротуаров неслись мутные ручьи, старательно обходявшие глыбы серого снега, лежавшего на их дороге. Пахло воробьями. В водосточных трубах с шумом и треском разбивались грязные сосульки. На сердце у меня было холодно. У меня и сердца-то не было.

Я и сам не знаю, как дошел до института. Мимо меня

пробежали беспечные студенты. Им-то что, им не идти в танковое. Самый короткий анекдот : Шифрин — танкист.

Уже работала приемная комиссия. В комнате сидела девушка, та самая, которой в прошлом году я сдавал документы.

— Привет, — сказал я, — студенты не требуются?

— Требуются, — сказала она.

— А я на второй курс. Я с заочного.

— Давай, у нас на втором курсе большой отсев. Подай заявление.

— Да ты что, — сказал я, — так не бывает.

— Бывает, — сказала она. — Чего же ты застыл, давай заявление, укажи отметки за первый курс.

Через две минуты она вышла из кабинета директора. На моем заявлении красным карандашом было начертано: "Принять на второй курс".

Я отключился. То есть я куда-то провалился. Когда я открыл глаза, передо мной стояла испуганная девушка со стаканом воды.

— Ты что, — говорила она, — что это ты?

— Справку, — прошептал я, — немедленно справку. Я студент. Я очник. Я на втором курсе.

Я зажал справку в правой руке.левой рукой я придерживал правую руку, чтобы она не потерялась. Я шагнул в военкомат. На улице была весна. Вдоль тротуаров журчали чистые сверкающие ручьи, они сметали остатки грязного снега и уносили их с собой. Пахло солнцем. В водосточных трубах весело трескались сосульки. Они пели весенние марши. На сердце у меня была весна. Сердце билось, как часы на Спасской башне.

— Ну что, Шифрин, — окликнул меня майор. — Завтра с вещами. Смотри, не опаздывай!

— Никак нет, майор, — сказал я, протягивая ему заветную справку.

Вошел каперанг.

Он схватил бумажку, пробежал ее глазами и восхищенно сказал:

— Умеют они устраиваться!..

Потом он хлопнул себя по бокам и сказал:

— Умеют они устраиваться!..

Я уходил, а в спину мне несло это злобное и восторженное: "Умеют они устраиваться!.."

9

В ОТК со мной работал старик Сидоров. Это был добрый человек, исключительно равнодушный к работе. Ему было на все наплевать. Он утром неторопливо обходил цеха, трепался с рабочими о том, как хорошо было в старое время и что нынче совсем не то. Потом он возвращался в контору и целый день записывал в книгу мастеров свои впечатления о работе. Записи его не отличались разнообразием. Он писал: "машина №1 — в порядке, машина №2 — тоже в порядке, машина №3 — в порядке..." Со стариком Сидоровым было просто приятно работать.

Летом он поехал в Клин или в Калинин и там умер.

На фабрике всполошились. Директор вызвал меня и сказал:

— Ты хорошо знал старика Сидорова. Поэтому я назначаю тебя председателем похоронной комиссии. Ты поедешь в Клин или в Калинин и привезешь гроб с телом старика Сидорова. Мы поставим его в нашем зале, а потом, попрощавшись, похороним за счет фабрики. Ты меня понял?

Я его понял, и, хоть мне было не по себе, что я должен привезти мертвого старика Сидорова, — я пошел выполнять приказ. Мне дали машину и трех здоровых молодцов, и я поехал.

Старик Сидоров лежал в местном морге. Я впервые встречался со смертью, а тут еще моим гидом оказался тощий циничный дядька — сторож морга, который не соглашался выдать мне Сидорова без пол-литра.

— С тебе пол-литра, — серьезно говорил дядька, ведя меня по моргу.

Мне было страшно и противно.

— Да, да, конечно, — бормотал я, глаза на местных жителей, окончивших уже земное существование.

— Вот этот ваш, — сказал дядька, — бярите яго.

Мои молодцы взяли беднягу Сидорова и понесли в гроб, который мы купили в магазине "Похоронные принадлежности" по безналичному расчету. Я старался не смотреть на старика Сидорова, мне было стыдно перед ним.

Наша машина катила по безлюдному шоссе, по обе стороны которого царило подмосковное лето. Мы сидели на гробе Сидорова, курили и размышляли о жизни и смерти. Один из молодцов рассказал старый анекдот: "Умирает один еврей..." Я сидел и думал: "Зачем это все? Зачем мы рождаемся, мучаемся, мучаем окружающих нас людей, ссоримся, воюем, производим детей, едим, читаем книги, верим в Бога? Зачем? Вот старик Сидоров. Он лихо размахивал саблей в гражданскую войну, рубал красных и белых, потом голодал, строил, рыл землянки, потом руководил чем-то, в чем никогда не разбирался, потом упал, чтобы опять карабкаться вверх, потому что отравился властью и мечтал вновь ее получить. Но так и не дополз, потому что был необразован и неразвит. И вот он умер. Он лежит в гробу, на котором сижу я, а потом мы поменяемся местами, и на моем гробе будет сидеть молодой Сидоров и рассказывать анекдот о том, как умирает один еврей. Что остается от людей и после людей?"

Двор фабрики заполняли рабочие. Они пришли проститься со стариком Сидоровым. Мы въехали во двор, разговоры смолкли, грянула музыка — это наш духовой оркестр заиграл марш.

Дирижер и руководитель оркестра — Жорка из слесарки, не переставая дирижировать, подошел ко мне и зашептал:

— Толя, нету того звучания, что надо. Колька, стержец, запил... Я его как человека просил: "Колька, не пей завтра, Сидорова похороним, тогда давай". Так нет же, сукин сын, испортил мне всю музыку.

— На чем он играл-то?

— Тарелки! — отчаянно сказал Жорка. — Понимаешь, медные тарелки! Вот здесь бы, бум-чи, бум-чи, так это ж одно наслаждение, а без тарелок — хохма какая-то...

— Погоди, — сказал я, — сейчас Леве скажу.

Я пробрался к директору и сказал:

— Лев Яковлевич, — с оркестром плохо, нет тарелок. Запили тарелки.

— Хорошо, что ты еще не запил, — сказал директор. — Иди и помоги этому Стоковскому из Марьиной рощи. Сыграй ему на тарелках.

— Ну, знаете, — сказал я, — это уже слишком — я и Сидорова вези, я и на тарелках играй. Я инженер, а не джазист. Сами играйте.

— Я не умею, — сказал директор, — а то бы я помог бы своим товарищам. Тоже мне трудность — на тарелках играть! Скажи, что тебе приятнее пререкаться с директором вместо того, чтобы помочь коллективу. В жизни не видел такого недисциплинированного работника. Иди и играй, я тебе говорю!

Я злобно посмотрел на директора и пошел к Жоре.

— Как играют на твоих идиотских тарелках?

— Толя, милый, — обрадовался он, дуя в трубу и размахивая оставшейся рукой. — Я тебе покажу. Когда я сделаю вот так, ты стукни тарелками, а когда я так не делаю, ты себе помалкивай, понял?

Я взял тарелки и встал в оркестр. Народ вокруг зашушукался. Жорка взмахнул рукой, и я сильно ударил тарелкой о тарелку. Оркестр приободрился. Все стали играть слаженной и энергичней. И я стучал и стучал в свои тарелки! Я слушал и бил в тарелки. Я не видел лиц моих товарищей, не видел рабочих, не видел гроба со стариком Сидоровым, не видел директора, я ничего не видел. Мною овладело удивительное, счастливое состояние. Я вдруг ощутил себя творцом. Я творил музыку! И мне казалось, что это из-под моих рук, рождаясь, уносятся звуки скрипок и виолончелей. Это я пробудил к жизни аккорды органа и рычание тромбонов. Это я сочинил этот бетховенский марш, старый как мир, старый, как старик Сидоров! Я стучал в свои тарелки и был свободен, как песня, несущаяся в горах. Я был джигит, я был силач! Я мог крикнуть на всю вселенную: "Бог! Ты

видишь, какой я? Я тоже Бог! Я творю! Я — музыка! Я..."

И Жорка удивленно смотрел на меня и делал мне рукой в нужном месте, а я мысленно благодарил директора за то, что он заставил меня играть в этом оркестре, состоящем из мальчишек и стариков. И я подумал, что они-то, эти мальчишки и старики, наверное, не даром дудят в свои трубы, ибо в этих трубах я увидел другую, неведомую жизнь...

Спасибо тебе, старик Сидоров. Прости меня: ты помог мне почувствовать себя счастливым. Спасибо тебе, старик Сидоров!..

10.

В Москве новое поветрие: открыли молодежные кафе. Меня вызвали в райком комсомола и сказали: "Ты будешь председателем Совета кафе "Марсиане". И я стал председателем. Быть председателем интересно. Во-первых, ты все время встречаешься с людьми. Во-вторых, у тебя есть место, где можно провести время вечером. В-третьих, это почетно, потому что в Москве всего два молодежных кафе, и ты один из двух председателей..."

У меня был свой столик в углу. Там я сидел каждый вечер, давал советы активистам, разрешал возникающие споры и беседовал с отдельными посетителями, желающими узнать то или се. Играл джаз, танцевали влюбленные, буфетчица Люся улыбалась мне иногда из-за своей стойки.

Однажды в кафе вошла небольшая свора молодых людей. Их было человек восемь. Швейцар и гардеробщик (в одном лице) со странной фамилией Патефонов сурово посмотрел им вслед и сказал члену Совета Лене Синельникову:

— Ты гляди за ими, рожи у их уж больно не того... Понял?

Молодые люди заняли отдельный столик и раскрыли принесенный с собою чемодан. Он был доверху набит бутылками коньяка.

Со своего наблюдательного пункта я видел все это, видел, как один из них, бледный малый, быстро налил из двух бутылок по полному стакану каждому. Юноши крякнув выпили и тут же налили по второму.

Член Совета Лень Синельников, посуровев, уверенной походкой подошел к столику с нарушителями:

— Молодые люди, — сказал он, — вы нарушаете правила поведения в нашем молодежном кафе "Марсиане". Я прошу вас немедленно прекратить попойку и сдать этот злополучный чемодан нашему швейцару и гардеробщику Патефонову.

— Иди отсюда, гад, — ответили ему за столом, — а то щас получишь по харе. Понял, морда?

Лень Синельников, учтя вышесказанное, угрожающе сказал:

— Хорошо... — и направился к моему столику.

Я приготовился к докладу.

— Толя, — сказал Лень, — там сидят хулиганы. Они пьют водку и оскорбляют меня. А я сегодня дежурный член Совета.

— Хорошо, — сказал я, — что ты предлагаешь?

— Я предлагаю немедленно вышибить их из нашего кафе. Это гады какие-то, — сказал обиженный Лень.

— Хорошо, — сказал я, — скажи им, что мы решили попросить их вон...

Со стороны столика, за которым сидела напивающаяся свора, раздалось нестройное пение...

Официантка Люся из-за своей стойки укоризненно посмотрела на меня, как будто я виноват, что они орут и не слушают добрых советов Лени Синельникова. Я ощутил себя членом коллектива. Я встал, подошел к их столику и сказал, глядя в глаза бледного малого:

— Вас предупредили, вы не послушались. От имени вверенного мне Совета попрошу вас оставить наше предприятие.

Парни за столом весело засмеялись, а бледный малый лениво сказал:

— В гробу я тебя видел. Отойди от стола, гнида, не раз-

дражай меня... Не на твои пью, сволочь, ну и гони отсюда.

Я посмотрел на него так, как в кино смотрят переодетые чемпионы мира по боксу на приставшего к ним на улице интеллигента, и пошел на эстраду.

— Друзья, — сказал я в микрофон, обращаясь к посетителям кафе. (У меня хорошо поставленный голос, у микрофона я чувствую себя как рыба в воде.) — Друзья, сегодня к нам, в наше замечательное кафе "Марсиане" пришли пьяные хулиганы. Они хотят отравить нам вечер. Они мешают нам отдыхать. И жить! (Это я добавил, вспомнив материал в газете под заголовком "Дурную траву с поля вон".) Дурную траву с поля вон! — сказал я. — Неужели среди нас нет настоящих мужчин, чтобы проучить и выставить отсюда оголтелую кучку хулиганов, а?

В зале произошло некое движение. Отовсюду отодвигались стулья и передо мной там и сям вырастали могучие фигуры посетителей кафе мужского пола. Они засучивали рукава и с вопросами: "Где там? Кто там? Что там такое?" — устремились в ту часть зала, где сидели владельцы чемодана с их дурацким коньяком.

Что я заварил! Бледный малый закричал: "Бей их, паразитов!" — схватил тяжелый металлический стул (модерн, гордость кафе) и метнул его в толпу осаждающих.

Его коллеги немедленно выполнили то же упражнение. Посетители с криком: "Ах, вы так!" — стали скручивать руки дебоширам. Но не тут-то было! Свора перешла в наступление. Схватив в каждую руку по пустой бутылке, они ударом об столик отбили у них дно и с этими страшными осколками бросились на толпу.

— Мама! — крикнул я, потому что понял, что это и есть мой последний день!

Все было как в хорошем гангстерском фильме: женские истошные вопли, кровь, пол, усеянный разбитой посудой, проклятия и ругательства, плач и глухие удары.

Дальше все монтажно. Вот крик: "То-л-я-я!" Судорожно оборачиваюсь. Надо мной повисла бутылка шам-

панского. Кто-то схватил кого-то за руку и бутылка разбилась о стену.

Вот человек в черном костюме. Он стоит посреди зала в самом эпицентре драки и двумя руками, по которым стекает жир, ест жареную курицу. Он ест не оставиваясь, и лишь глаза его бегают с удовольствием и восторгом по сторонам и ловят все, что происходит вокруг.

Вот Люся, спрятавшаяся под стойку, в то мгновение, когда по воздуху не летают бутылки и стулья, внезапно появляется над стойкой, как кукла Образцова над ширмой, и проворно прячет к себе под стойку чудом уцелевшие бутылки и стаканы. И снова крики, хрип, стон...

И я кричу, кричу, как сумасшедший:

— Перестаньте, мы же убиваем друг друга! Убиваем!

Но где там! Кто меня слышит? Где я? Что я? И Леня Синельников, у которого порвана рубаша и подбиты нос и глаз, говорит мне в самое ухо:

— Иди в милицию. Скорей иди. Мы их задержим.

— Хорошо, — говорю я и вылетаю раздетый на морозную январскую улицу...

Зима выдалась снежная. Снег под фонарями радушно переливается. Вечер. В кооперативном доме напротив уютно светят оранжевые окна. Прохожих мало. Москва отходит ко сну. Это всегда интересно, потому что Москва засыпает забавно. Сначала закрываются магазины и общественные уборные. Это, так сказать, намек, что нечего, мол, шляться по улицам. Шли бы спать, граждане. Еще раньше закрылись табачные киоски и тетки с газировкой и мороженым. В театрах уже окончились спектакли, метро ждет последних зрителей кино и рабочих со второй смены. Вот промчались и они. Жизнь еще еле теплится в закрывающихся ресторанах. Вот и последние пьяные, бормоча и спрашивая у встречных папироску, забрались в пустые вагоны метро, чтобы уснуть где-нибудь в уголке на мягком, пока бдительные метро-милиционеры не выведут их на волю и в участок. И все. Москва забылась тяжелым, без сновидений сном. Все. Утром на работу...

А я, раздувая бока, бегу изо всех сил в милицию, потому что в "Марсианах" люди убивают друг друга. Я бегу, как Владимир Куц, когда он устанавливал рекорд. Я бегу посреди улицы, и прохожие смотрят на меня не удивляясь, потому что народ в Москве ничему не удивляется. Двести, пятьсот — сколько еще метров? Господи! Скорее бы! Мне не холодно. Я мокрый. Ну вот и вход. Я вваливаюсь в дежурку и падаю на скамейку, не в силах сказать ничего, и только хрипло дышу, знаками объясняя майору в фуражке, что и как.

Майор смотрит на меня круглыми черными блестящими глазами в пушистых ресницах и задумчиво вертит на пальце связку ключей.

— Товарищ майор, — говорю я, — там, в "Марсианах"... хулиганы... убивают... там. — Давай скорей... людей давай. Ужас там что... Пойдемте.

Майор внимательно смотрит на меня.

— Успокойтесь, пожалуйста, — говорит он. — Постарайтесь все внятно объяснить...

... И я лечу обратно. Я убежден, что сейчас я войду, и мне покажут труп Лени Синельникова или Люси, или еще что-то, о чем я боюсь даже подумать. Я смертельно устал.

У входа в кафе пусто. Я влетаю, наливаясь яростью, и кричу:

— Где они? Сейчас мы им!..

В кафе пусто. Все ушли. Только группа моих активистов зализывает раны, собирает брошенные жестокой рукой стулья, переворачивает столы, подметает битое стекло.

— Ушли, — говорит Леня Синельников, — они вырвались, подбежали к нашему швейцару и гардеробщику Патефонову, показали ему длинный нож, схватили свои пальто и убежали.

Мы сидим на стульях, как после бомбежки, и тупо смотрим в пол.

Дверь открылась и вошел мальчик лет шестнадцати. Он воровато оглянулся и пошел к стулу, на котором висел пиджак.

— Тебе чего? — устало спросил я.

— Да вот пиджачок хочу взять. Пиджачок забыл, — сказал он.

— Ну возьми.

Мальчик уже взял пиджак, как вдруг Люся сказала:

— Толя, а ведь он из этой компании. Он с ними сидел...

— А-а-а! — сладострастно заорали мы. — А-а-а! — И мы смело в десять рук схватили мальчика за руки, за ноги, плечи, грудки... — А-а-а! Ты кто такой? Вы кто такие? Бандиты! Вы что сделали с нашим замечательным кафе "Марсиане"? Погромщики! Немедленно выдавай, кто твои сообщники!

— Режьте на куски, никого не выдам! — мужественно сказал схваченный по рукам и ногам противник.

— Ах, не выдашь? — сказали мы. — Всех выдашь!

— Нет! — сказал мальчик. — На куски режьте — и то не скажу!

И так как милиция не пришла, мы закрыли кафе и отвели нашего врага в отделение, где на восьмой минуте он рассказал, что он сам и его товарищи — официанты ресторана, что у них сегодня получка и пить в своем ресторане неудобно, что они много слышали хорошего о нашем молодежном кафе "Марсиане" и хотели там "культурненько" провести время, а так как они не утерпели и "тяпнули" раньше, то весь сыр-бор из-за этого и вышел.

— Так что уж извините, если что не так...

А потом был суд. Я был общественным обвинителем. Я гневно обличал пьянство.

— У нас нет социальных причин для пьянства, — говорил я, — тем постыднее уродливый поступок этих молодчиков. Мы стараемся, создаем молодежи все условия для культурного времяпрепровождения, а эти отщепенцы ведут себя, как враги. Они антиобщественны, и мы просим их наказать...

Моя речь произвела на обвиняемых сильное впечатление. И я ушел с сознанием исполненного долга...

11.

По понедельникам в типографии были летучки. Все начальники собирались у директора и докладывали о выполнении плана за истекшую неделю. Директор выслушивал и давал указания. Отстававших он ругал ужасными словами, передовиков натравливал на отстающих. Итеровцы называли летучки "чистилищем".

У директора был "бзик". Он боялся пожаров. В середине разнесов он останавливался и принимался. Ему всегда казалось, что пахнет дымом. Вот и сегодня после слов: "Из-за тебя, Сурин, фабрика не выполняет план. Я тебя измордую, Сурин. Я в жизни своей не видел такого тупого начальника бумажного цеха. Разве ты не знаешь, Сурин, что книжки печатаются на бумаге?" — он остановился, понюхал воздух и спросил:

— Чем это пахнет?

Я сидел в последнем ряду и играл с Генкой Левиным в слова. Ну, знаете, когда берется слово, а из него составляются разные слова. Кто больше придумает таких слов, тот выиграл. Я услышал вопрос директора и механически сказал:

— Это фабрика горит, из-за Сурина.

Наступила тишина. Директор нажал кнопку. Вошла Галя.

— Давыдовского ко мне, немедленно,— сказал директор.

Было очень тихо. Через две минуты я тоскливо увидел в окне, как по двору заковылял Давыдовский, начальник пожарной охраны. Он вошел в кабинет, вытянулся и гаркнул:

— Слушаю, Лев Якыч.

— Давыдовский, — сказал директор, — Шифрин говорит, что горит наша фабрика. Проверьте, где горит, и тут же мне доложите.

— Слушаю, Лев Якыч, — козырнул Давыдовский и побежал выполнять указание.

—Никто не произнес ни слова. Директор смотрел в

окно и барабанил пальцами по стеклу. Через пять минут вернулся Давыдовский.

— Так что, нигде не горит, Лев Якыч,— сказал он.

— Встань, — сказал мне директор.

Я встал.

— Посмотрите на него, — сказал директор. — Вы видите этого идиота?

Сослуживцы посмотрели на меня.

— Видим, — сказал Сурин.

— Кто тебя дергает за язык, Шифрин? Почему ты хочешь, чтобы я имел из-за тебя инфаркт? Где ты видел, что горит фабрика? — не унимался директор.

— Лев Яковлевич, — сказал я, — я ведь сказал в переносном смысле. Я имел в виду, что фабрика горит с выполнением плана. Вот что я имел в виду.

— Он "имел в виду". Я тебя буду иметь в виду! Я уж не говорю о том, что ты автоматически лишился прогрессивки в этом месяце за хулиганское высказывание в кабинете директора, я еще попрошу, чтобы тебя вызвали на партбюро. Анекдот, а не человек! Стой, пока будут докладывать твои товарищи! Пусть все видят, какой ты дикарь.

Директор был очень расстроен. Мне было жаль его. Я стоя доиграл с Генкой Левиным в слова, выиграл, сказал ему шепотом: "С тебя коньяк", дождался конца летучки и вышел во двор. Сослуживцы, проходя, тепло жали мне руку, они выражали мне соболезнование, как жене покойника. Юрка Сурин, начальник бумажного цеха, похлопал меня по плечу и сказал:

— Твоя жалкая вылазка справедливо наказана. Все, кто поднимал руку на бумажный цех, погибли в страшных мучениях.

— Шифрин, найди к директору,— сказала секретарь Галя, проходя в столовую.

— Господи, что еще?— думал я, входя в его кабинет.

— Ну, как я тебе всыпал, ничего? — участливо спросил директор.

— Ничего, — сказал я, — бывает хуже.

— Конечно, бывает, — согласился он. — Садись, пожалуйста.

Это мне не понравилось. Директор никогда никому не говорил "садись, пожалуйста". Я присел на краешек стула.

— Ты молодой дипломированный инженер, — задумчиво сказал директор. — Тебе надо расти. Как ты думаешь?

— Я расту, — неуверенно сказал я.

— Ты не туда растешь, куда надо, — сказал он, — ты растешь в грубостях своему директору, вот куда ты растешь. Короче, я назначаю тебя начальником печатного цеха. Так будет лучше.

— Да что вы, — испугался я. — Рано еще. Я еще не поработал как следует.

— Поможем, поможем тебе, — торопливо сказал он. — Не Боги горшки обжигают. Если ты умеешь так говорить с директором на летучках, ты сумеешь говорить с рабочими тоже.

И я стал начальником цеха. Начальник цеха должен уметь все. Он должен ругать мастеров, знать о настроениях в цехе, организовывать смены, подписывать наряды, убеждать женщин не делать аборт, мирить мужа с женой, увольнять пьяниц, воспитывать учеников, ладить с нормировщиками, ругаться с бухгалтером, выделять людей на картошку, пресекать разврат, следить за чистотой, быть подсобным рабочим, выпивать со старшим мастером и выполнять план по двенадцати показателям.

План составлен хитро. Если ты выполняешь план по натуре (по количеству выпущенной продукции), то у тебя нет вала (денег — стоимости этой продукции).

— Лев Яковлевич, где взять денег по валу?

— Где хочешь!

Ты сидишь до позднего вечера и ломаешь голову, где же взять эти деньги. И ты придумываешь. Надо воровать. Воровать у государства, чтобы отдать государству. Как это сделать? Ты знаешь, что единица продукции стоит, скажем, пять копеек. А если бы она стоила восемь копеек, то у тебя вышел бы план по валу. Твоя задача найти эти три копейки. Кто главный человек на предприятии? Нет, не угадали. Главный человек на предприятии —

калькулятор! В его руках — контроль и цены за продукцию.

Ты берешь ма-а-аленькую бутылочку спирта и идешь к калькулятору, милейшему Николаю Семеновичу.

"Николай Семенычу — пламенный привет!" — бодро говорил я, входя в его комнату.

Николай Семенович был похож на щедринскую канцелярскую крысу. Это был остренький старичок, большой любитель наливок и настоек.

"Как дела, молодой человек?" — осведомлялся он, пристально глядя на мой оттопыренный карман, из которого выглядывала бутылочка, припасенная мною специально для этого визита.

"Эх-эх-хе! — сокрушался я. — Трудно, батюшка, ох, как трудно. План, понимаете ли, страшная штука. Работаешь, работаешь, гонишь, гонишь, а вал-то тью-тью, того, нету вала-то!"

"Так, — важно говорил он, — чай пили — не пили, все равно два рубля". (Такая у него была присказка.)

"Именно, — говорил я, — именно, милейший Николай Семенович. Может, подсобите молодежи, а? Такая нынче сложная продукция идет! Ее бы по шестой группе оценить, три копеечки б накинуть, а Николай Семеныч! И нам бы вал, и вам бы план, а, Николай Семеныч?"

"Да уж ведомо, неплохо бы! Да вот зуб что-то разболелся, тянет, тянет, прямо муки Севастьяновы..." — косился он на заветную бутылочку.

"Да, — говорил я, — вот, полечите зубик-то, Николай Семеныч, верное средство..."

Николай Семеныч со вздохом прятал бутылочку в стол и говорил: "Иди, утром что-нибудь придумаем. Всю ночь спать не буду, думать за тебя, юношу, буду. Иди. Солдат спит — служба идет. Чай пили — не пили, все равно два рубля..."

(Примечание автора.

Очень легкомысленная сцена. Если бы проблемы нашей экономики можно было бы решить ма-а-аленькой бу-

тылочкой спирта, мы бы наверняка давно их решили.

Тут маленькой бутылочкой не обойдешься...)

Через месяц меня вызвал директор и сказал:

— Мало думаешь, мальчик. Надо думать головой за свой цех. А нормы занижены. Надо их подравнять... Думай об этом. А плановый отдел тебе подкинет цифры. Я уже дал указание.

Я поговорил в плановом отделе. Они предлагали увеличить нормы выработки с машины на 17-20 процентов. Это значило, что зарплата моих рабочих понижалась на 17-20 процентов.

— Как же быть?

— Будут делать больше. Увеличите скорости машин. Надо же думать о производительности труда.

Приказ об изменении норм выработки был подписан. Мы решили провести это тихо и без разговоров. Утром я пришел в цех. Перед входом мною овладело какое-то беспокойство. Я не услышал привычного жужжания машин. Цех не работал. Не кружились валы печатных машин, не суетились подсобные рабочие, катавшие тележки с отпечатанными листами, не шелестели бумагой сортировщицы, просматривающие готовую продукцию. Цех молчал, как в воскресенье.

Мои мастера растерянно обступили меня со всех сторон.

-- В чем дело?— спросил я и быстро пошел в контору цеха.

— Они не приступили с утра к работе, — говорил мне бледный мастер Белов. — Я им говорю: сейчас же по местам. А они говорят: пока не вернут старые нормы — работать не будем.

— Позовите ко мне парторга, — распорядился я.

Вошли рабочие.

— Это что ж творится на советском предприятии? — сказал я парторгу Орлову, печатнику.

Орлов — умный, неторопливый мужик-закурил, присел на край дивана и сказал:

— Непорядок, Толя. Рабочих надо было поставить в

известность. А то вы как-то быстро, трам-тарарам — и готово. У всех дети, семьи, бюджет. А вы зарплату снижаете.

— Не снижаем, а выравниваем нормы.

— Ну так выравнивайте в большую сторону, что же вы так выравниваете?..

— Ну вот что, Орлов, — сказал я, — ты сам понимаешь, что это такое. И ты знаешь, чем это грозит. Если через десять минут рабочие не приступят к работе, Я должен буду уволить печатников.

— Толя, рабочие будут писать жалобу в ЦК!

— Пусть пишут, но к работе прошу немедленно приступить.

Вошел директор. По его лицу я увидел, что он уже все знает.

— Ну вот, — закричал он, — середина рабочего дня, а Шифрин собрания устраивает. У тебя что, все машины сломались? Может быть, ты решил отдохнуть?

— Нет, Лев Яковлевич, — сказал я. — У нас тут небольшое недоразумение. — Я посмотрел в глаза Орлову. — Но оно уже улажено.

Орлов усмехнулся, погасил о каблук папиросу и вышел в цех.

Мы стояли с директором и прислушивались к возгласам, раздававшимся из-за двери.

Низкий баритон Орлова убеждал: "При чем тут Толя? Он пешка, ему что велели, то он и сделал. Тут даже Лев не виноват".

"А кто виноват?" — Это Митька Бурляев — помощник печатника.

"Ишь, мать их, подам заявление об уходе". — Это Спиридонов, лучший печатник.

"А куда пойдешь? Везде одинаково".

"Только приноровишься, раз — они тебе нормы сразу...".

"Ничего, напишем куда надо, пусть разберутся...".

"Товарищи, надо приступить к работе. Машины уже два часа стоят". — Это Иван Иванович, профорг.

"Ты бы лучше, Ваня, о нас думал, о машинах — Только думать. Он за это деньги получает...".

Мы с директором переглянулись. В его глазах были насмешливые искорки.

Вот зажужжала одна машина, другая, вот и весь цех наполнился обычным шумом, скрежетом, шорохами — я перевел дыхание.

— Ну, ничего,— сказал директор,— могло быть хуже...

12.

— Наш курс послали "на картошку". Мы поорали, поартачились, но секретарь комитета комсомола сказал, что если мы не поедем, то будем пенять на себя. "Во вторых, — сказал он, — это наш долг — помочь колхозникам, а в-третьих, только дураки отказываются в такую погоду поехать в деревню и подышать воздухом. Сено, молоко, что вам еще нужно?" — спросил секретарь. Мы поехали.

Деревня называлась Озера. Это вот где. От Москвы на электричке 3 часа езды, потом на грузовике по вихлястой пыльной дороге километров сорок в сторону. Кругом равнина, перерезанная столбами с провисшими проводами (то ли электричество, то ли телеграф), поля с желтеющей зеленью хлебов. А вот и лес. Зеленый, пахучий... Лес кончается внезапно, и у опушки раскинулась деревня. Это и есть Озера. Длинная улица, на которой лениво бродят куры. Дома в три окна на улице, серый, выгоревший флаг на одном из домов. Это сельсовет.

Мы, охрипшие от песен и пыли, прыгаем с грузовичка и сваливаем в гору свои рюкзаки. Приехали!..

На крыльцо вышел небритый председатель в мятой зимней шапке на затылке, почесал ухо:

— Приехали, голуби?

— Приехали!

— Кто старшой-то?

— Галка Амурова.

— Ну, Галка-палка, давай квартируй свой полк. Завтра

в поле пойдем. Парней давай к Прохору, там просторно, девок — к Устинье, я с ней договорился.

Парни — это я. Я — к Прохору.

— Гляди, — смеется председатель, — в Москве-то тоже вроде нас. Одни бабы. Куда парней-то подевали?

— У нас институт такой, — оправдывается Галка. — К нам мальчишки не охотно идут...

— Во-во, — говорит председатель, — точь-в-точь. У нас то же самое... Малый, проводи студента до Прохора.

Я иду со своим чемоданчиком за босоногим мальчонкой, который не проявляет ко мне никакого интереса.

— Тебя как звать?

— Колька.

— Чего ж ты молчишь, Колька?

— А чо говорить-то? Вы ведь, московские, все одинакие. "Как звать да сколько лет? Да где мамка? Да почему тятка в колхозе не работает?" Чо я, не знаю, что ль? Вы, московские, все одинакие... Каждый год, небось, приезжаете...

— Шустрый ты, Колька...

— Вон Прохоров дом-то. Бывай!

— Бывай, Колька.

Я постучал в низкую дверь избы, стоящей в самом конце улицы.

— Не заперто,— ответил высокий с хрипотцой голос.

— Из Москвы я, на картошку приехал...

— Проходи, чего встал-то?

— Здравствуйте, я...

— Да уже вижу. Небось, Кузя от сельсовета прислал?

— Угу.

— Ну вот. Спать вон там будешь, там помягче. Кости, небось, культурные, пуху просят?

— Да нет, я турист, я и по-спартански, так сказать...

— Во-во, я по радио-то часто слышу: "Спартак, Спартак..." Выходит, ты и есть Спартак?

Прохор сидел за столом и в упор разглядывал меня прищуренными карими глазами. На столе валялась примятая пачка "Прибоя". На вид ему было лет шестьдесят.

Широкогубое, безбородое его лицо было привлекательно: где-то в краешках рта угадывалась усмешка, и этот хитрый вопрос о Спартаке...

— Нет, я не Спартак, я Толя.

— Ну вот и познакомились! Есть-то будешь?

— Спасибо, мы перекусили.

— Ну, тоды ложись, радио будем слушать.

Я лег на лавку, укрылся пальто, а Прохор, поколдовав у старенькой "тарелки" ("громкоговоритель", как ее называли до войны), стал слушать.

В избе было тепло, душно, глаза у меня слипались и, засыпая, я слышал размеренный голос диктора и бормотанье Прохора, оценивавшего события.

— Господи, черных-то бьют, бьют, а они, бедные, хоть бы что... Наказание-то... Терпят, все, терпят... Господи... воля твоя...

Я уснул.

(Примечание автора.

Все-таки Толя Шифрин все путает: какой может быть Чомбе, если дело происходит в пятидесятых годах (как мне думается). Очевидно, Толя хотел сказать: "Белые наемники из банды Ли Сын-Мана"...)

"Спать, спать, по палатам, пионерам-октябрятам!" — под самым моим ухом пропел горн, и я вскочил, озираясь по сторонам...

— Чего ты вскинулся? — проворчал Прохор откуда-то из-за печки. — Петуха, что ль, никогда не слышал?

— Не слышал, Прохор... — зевая, сказал я. Сон больше не приходил. Я отлежал спину и кряхтел, переворачиваясь на другой бок.

— Вам когда на работу, дядя Прохор?

— А я свое уже наработал. С лихвой.

— Как же? А в колхозе вы состоите?

— Ну а как же. Нонче все состоят. Только я по другому делу. Печку где сложить или, скажем, крыша прохудилась, вот меня и зовут.

— А,а,а... Значит на земле вы не работаете, дядя Прохор?

Он помолчал.

— Давно вы в Озерах-то, дядя Прохор?

— Я тут второй раз живу.

— Это как "второй"?

— Во, тебе все Расскажи... Будешь много знать...

— Ну Расскажи, дядя Прохор... Все равно не спится...

Я не видел Прохора в темноте. Я смотрел в окошко, в котором был кусочек серого неба с проплывающими облаками и слушал.

"Колхозы Харьковской области выполнили план хлебопоставок. В закрома родины засыпано более... пудов... Хороший подарок принесли хлеборобы..."

— Хлеборобы... — бормотал Прохор, — где они, хлеборобы-то? Эх-ма...

"На Конкурсе в Варшаве молодой советский скрипач... первое место..."

— Ишь ты, — кряхтел Прохор, — попиликал, попиликал, и на тебе — первое место. В колхоз ты его, вот-те и первое место!

"Белые наемники из банды Чомбе убили еще... тысячу негритянских жителей Леопольдвилья..."

— Я тут в Озерах и родился. И отец мой тут жил. Женился он в Озерах. Нас у отца всего двое было. Брат у меня был, Егор. Место у нас ржаное. По ржи, значит, работали. Тятка был справный. Крестьянин, в общем. Ну, а тут революция нагрянула. Землю, говорят, дадут. Ну, крестьяне, конечно, все — за! Нарезали земли, стали хозяйствовать... Тятка мне завсегда говорил: "Прошка, земля — она как мамка: и согреет, и накормит, и сиську дасть. Нету любви к земле — подавайся в город, потому как проку ни тебе, ни кому не будет". И мы с Егоркой, значит, по хозяйству... И сеяли, и пахали, и собирали... Ну, как все. Земля у нас родящая. Так что с голоду не помирили. А тут, значит, приказ вышел: коммуна. Мужики собрались. Тятка тоже пошел. Порешили: сообча, коммуной испробовать. Хуже будет — разойдемся. А пока, что власть не дражнить, — сделать коммуны. Да... Мес-

та у нас нечерноземные, кулаков-то мы и не знали. Все хозяева справные были: у кого лошаденка, коровенка там или две... Ну, если помочь кому, то соседи не отказывали, потому сегодня — я тебе, завтра — ты мне. Так что, ежели по-ихнему говорить, — выходит, все мы середняки. Да... А тут приезжает из Москвы комиссия. Я его никогда не забуду. Главного-то. Ох, шельма!.. Засели они в сельсовете, мужиков по одному вызывают. Тятюку зовут. Главный говорит "Хлеб есть засыпанный, не сданный?" Тятюка говорит: "Все, мол, сдали, оставили немного скотине на зиму и для себя на еду. Тем более что урожай не вышел — солнца много было". Главный говорит: "Сдай этот хлеб и зови следующего. Завтра утром все вывезем". Тятюка говорит: "Да ты что, товарищ хороший, как же я тебе его сдам? А я что жрать буду, а детишки мои, а скот что есть будет? Ведь не лишнее у меня, а что для жизни оставлено". Тут главный хлоп по столу: "Гад, кричит, кулак проклятый, ты хлебом обжираться будешь, а рабочий класс из-за тебя дохни! Сдай, говорю, хлеб и иди за следующим. Мы что, говорит, дискуссии с тобой делать приехали? Вы тут, говорит, кулачки один к одному подобрались... Так советская власть есть ваш заклятый враг! До победного конца!" Отец весь черный из себя стал и сказал: "Не отдам". И ушел. Ночью они и пришли. Когда они пол ломать стали, Егорка не выдержал, схватил скамью и бросился на Главного. Тут они его и убили. Стрельнули и убили. А утром пришел отряд, нас погрузили в телеги, всех почти что, и повезли. По России повезли. В телячьих вагонах. Может, слышал: "Восемь лошадей — сорок человек"? Нас по сту человек везли. Тятюка там и помер. До тайги не доехал. А как стал помирать, мне и сказал: "Это они крестьянина убивают. Насмерть убивают. Кто землю-то работать будет?"

Привезли нас к снегу. Выгрузили, значит... С землянок мы начинали. В землянках и зимовали. И помирали... Да... Ну, человек — это такая штука, он где хошь выдюжит. Так и мы. Победовали, потом домишек настроили. Охотой жили. Ну сибиряки — и только! Откуда уместность взя-

лась? А потом и промышлять пошли. Кто в лесозаготовках, кто в рыбные места, кто в рудники. Я вот в рудник подался... С земли — под землю, значит... Ты рудники видел когда, нет? Не приведи тебе Господь... Лютая это работа. Человек при ней зверем становится. Злость в нем нечеловечья появляется. Разбойником становится. Ни Бога ему, ни черта... И так изо дня в день, из ночи в ночь.

С работы в поселок идешь, бывало, а кругом земля лежит, нетронутая, жирная, черная... И уж так хотелось плужком по ней, родимой... Только нельзя... После рудника ни рук у тебя, ни ног... Да и дурость это одна... Я потом об этом и думать перестал... Отвык, вроде...

А тут — война. Закон вышел: сын за отца не отвечает... Мобилизовали нас, под Москву воевать отвезли. Тут меня и ранило... Ты, что, спишь, ай нет?

— Не сплю, дядя Прохор, слушаю...

— Ну вот... В общем, вернулся я в Озера. Ну, прямо, шаром покати... Мужиков — нету, бабы с детишками по избам сидят. Земля сохлая, неухоженная... В колхозах — темь... Председатели из города едут. Побьются, побьются — и бегут. Или пьют. Тут их и сымают, других шлют. А у меня — отврат от земли. Ну не могу смотреть на нее. Как в поле выйду, так мне Егорка и тятюка мерещатся... Ну, наваждение, и только...

А тут Кузю в председатели прислали. Он мне: "Прохор, помоги обществу, иди в поле... Нету ведь, говорит, никого, кто земельную науку знает, не осталось никого, ты один. Поучи баб, как в земле работать..."

— Ну и что ж вы, дядя Прохор?

— Нет, не могу я... Отвык... Земля хозяина любит. А она ко мне вон как — мачехой обернулась...

— Ну, а нарежут тебе земли, пойдешь работать?

Прохор свесился с печки и посмотрел на меня недобрыми отчужденными глазами.

— Нет, не возьму я... Да, и обманут ведь...

— Не обманут, дядя Прохор...

— Нет, не возьму... Не крестьянин я боле...

Мы убрали всю картошку. И в институте нами были очень довольны...

13.

В юности я был поразительно жаден. Я жадно впитывал в себя новые ощущения, новые чувства, старался поскорее узнать то, что мне еще и не нужно было знать. В пятнадцать лет я увлеченно и страстно добивался любви, с изумлением открывая для себя закрытый доселе мир девчонок. Ох, как я был неутомим в поисках ощущений! Еще раньше я выкурил свою первую папиросу. Чуть позже я, задыхаясь и по рыби разевая рот, выпил первую рюмку водки, чтобы потом, шатаясь как пьяный, пройти по двору на зависть менее искушенным в жизни ровесникам. Я торопился жить в юности, потому что полагал, что быть взрослым приятнее. А взрослеть для меня — абсолютное знание всего запретного. И я жадно раздувал ноздри и бросался в джунгли ощущений. Когда я прошел весь круг "повзросления", то вдруг с ужасом подумал, что ничего не оставляю на потом. "Мне же будет скучно жить, когда я стану совсем взрослым, — подумал я, — если я все узнаю "сию минуту". И я принял решение — оставить часть своих ощущений "на потом". К моему стыду, "на потом" осталось совсем мало: я никогда не был на бегах и никогда не прыгал с парашютом.

Однажды летом я и мой товарищ Марк "проводили выходной день". Мы шли по пыльной солнечной Москве, молчали и шалили. Мы приставали к прохожим и милиционерам с дурацкими вопросами.

— Чего вам не хватает для счастья? — спрашивали мы и вынимали записные книжки.

— Вас, — отвечали встречные девушки.

— Не приставай, — сурово отрезал милиционер, — не видишь, что ли, какой транспорт...

— Ничего не хватает, — вздохнув, говорили пожилые женщины.

К мужчинам мы не приставали.

Я люблю Ленинградское шоссе. Когда мы с Марком

попадаем на эту улицу, по какой-то странной ассоциации мы начинаем на два голоса (как нам кажется) петь старую гусарскую песню:

"Оружием на солнце сверкая.
Под звуки лихих трубачей.
Дорожную пыль поднимаю
Проходил полк гусар-усачей".

А потом мы лихо орем припев:

"А ты не плачь, не горюй,
моя дорогая..."

Прохожие не удивляются, потому что в Москве никогда ничему не удивляются. И в этот выходной день мы, проорав последний куплет о том, что

"Прошло только месяцев девять
и пара голубеньких глаз
на беленьких ручках держала
результаты гусарских проказ..."—

очутились перед большим помпезным зданием с чугунными лошадьми над портиком. Это был ипподром.

— От судьбы не уйдешь, — вздохнув, сказал я. — Пойдем, мой друг, перед нами бега. Минус одно ощущение "на потом".

— Нет, — сказал Марк, — мы советские люди, обладающие железной волей. Мы не должны идти в этот буржуазный вертеп. Жены с ужасом ждут своих мужей, проживающих жизнь на бегах. Счастье призрачно: жены тщетно ждут зарплату...

— А мы — холостяки, — кротко сказал я, и это решило дело.

Мы купили билеты по двадцать копеек и вошли в ворота ипподрома.

Ипподром — это целый мир. Люди на ипподроме — это совершенно особые люди. Они стоят группами и гово-

рят на странном птичьем языке. "Два, двадцать три, четырехста. Бега, седьмой заезд... скинемся по гривеннику...". Другие медленно ходят вдоль длинной сетчатой стены, в которой проделаны окошечки для кассиров, и изучающе смотрят в глаза проходящим к кассам посетителям.

Соревнования еще не начались. Мы купили программу и стали вслух обсуждать достоинства и недостатки каждой лошади и наездников. Так как мы ни черта не понимали, а говорили очень уверенно, вокруг нас моментально образовалась небольшая толпа хануриков, которые своими советами и комментариями помогали нам сделать верную ставку.

Порядок был такой: бегут по семь лошадей в каждом заезде. Если поставить на какую-нибудь лошадь и она будет первой на финише, то можно выиграть рублей 5. А если поставить на двух лошадей в двух заездах, то ого-го — сколько можно выиграть!

Все это нам объяснил маленький потертый человечек, который, по его словам, съел собаку на лошадях.

— Ставь на эту и эту, — он ткнул пальцем в программу. — Если выиграешь — дашь мне комиссионные за советы.

— Я не согласен, — заявил я, — я хотел бы индивидуально поставить на этих милых коней и выиграть сам. Марк сказал:

— Оставьте его, гражданин! Пусть этот жалкий дилетант сам отвечает за себя. Дайте ему возможность проиграть свои деньги. Пусть ему будет хуже.

Я сказал:

— Я желаю поставить на коня под названием "Лазутчик" в первом заезде и на коня под названием "Вега" во втором.

Потертый человек сморщился, как прошлогодняя груша, и, брезгливо посмотрев на меня, сказал Марку:

— Слушай, чувень, ну этот длинный, он ни фига не понимает и хочет заведомо проиграть, но ты-то серьезный человек, ты же не дашь ему сделать эту глупость и

поставить на "Лазутчика", который последние три года вообще никогда не занимал выше шестого места, а Вега — это просто смешно, там наездник второй категории, он еще не умеет ездить. Скажи ему, чувень...

Я сказал:

— Незнакомец, ты исключительно не прав. Конь с таким замечательным именем "Лазутчик" не может не выиграть. Он потому и "Лазутчик", что первый приходит к успеху, обескураживая врага. "Вега" же, о человек, начисто лишенный романтики, олицетворяет для меня успехи человека в космосе. Неужели ты не читаешь газет, сидя на этом паршивом ипподроме, и не знаешь, что Вега — одна из звезд нулевой величины, уступающая по яркости только Сириусу? Именно на эту звезду в недалеком будущем впервые ступит нога советского человека. Подчеркиваю — впервые! Поэтому я ставлю на Вегу. Что касается наездника второй категории, то это даже лучше, что второй, потому что он, наверное, очень хочет стать наездником первой категории, в то время как наезднику первой категории уже некуда стремиться и он может прийти вторым.

Мне показалось, что я его убедил, потому что он плюнул и тихо отошел не оглядываясь.

Я подошел к кассе, чтобы купить билет.

— Простите, — сказал я пожилой кассирше, — я хотел бы поставить один рубль на двух облюбованных мною лошадей. Продайте мне талон, потому что я хочу занять место на трибуне.

— Нет, молодой человек, — сказала кассирша, — я не продам вам билет.

— Почему? — изумился я.

— Потому что вы сегодня первый раз пришли в эту клоаку, и я не хочу, чтобы вы играли. Вы погибнете.

— Что такое, — заорал я, — я хочу поставить на лошадь. Закон на моей стороне. Немедленно дайте мне билет! Я не погибну, клянусь здоровьем! Начинается бег, дайте мне скорее талон! Я буду жаловаться!

— Юноша, — сказала кассирша печально, — я сижу

здесь не первую пятилетку. Передо мной прошла целая плеяда достойных людей, которых погубил азарт. Вы знаете, что такое азарт?

— Нет, — сказал я, — я не знаю, что такое азарт, но я безумно хочу узнать. И я не позволю, чтобы мне мешали узнать, что такое азарт. Заберите мой рубль, мадам, и дайте мне билет на Вегу и Лазутчика.

— Хорошо, — сказала кассирша, — я продам вам билет при одном условии: вы проиграете и немедленно уйдете отсюда домой.

— Да, да, — клянусь, что я тут же уйду домой.

-- Вы слышали эту клятву? — спросила кассирша Марка.

— Да, — сказал Марк, — мы тут же уйдем.

— Ставь скорее, а то начинается, — сказал я Марку.

— Нет, — ответил он, — я никогда не искушаю судьбу.

Я буду рядовым интеллигентным зрителем.

И мы прошли на трибуну. Начались заезды.

На старте гарцевали красивые сильные лошади. К ним были пристегнуты маленькие колясочки, в которых сидели наездники. На них были надеты цветные рубашки — оранжевые, белые, синие, красные, в крупную клетку, и шапочки с козырьками. Они выглядели игрушечно и празднично. На наездниках были номера. Лазутчик шел под номером 6. Прозвучал сигнал. На дорожку выехал "Москвич", к которому были приделаны крылья-барьер. Это был стартовый "Москвич". Наездники выстроились за этими крыльями. Ипподром затих. Старт! — И понеслось! Лазутчик, коричневый, лоснящийся жеребец нелепо взмахнул копытами, затоптался и моментально отстал. Мой протезе — наездник второй категории — сделал некий пасс, смысл которого я, конечно, не уловил, и Лазутчик со всех ног бросился догонять впереди идущий табун. Я заорал.

Вообще-то я зря орал. Я отлично знал, что мои лошади придут первыми. Во-первых, дилетантам всегда везет. Во-вторых, зачем мне вспоминать этот эпизод, если бы я проиграл. В-третьих, мне всегда везет совсем не там, где

нужно... Короче, мои кони пришли первыми. Происходило это так:

— Давай, Лазутчик, шпиончик, агентик, жми, дави, — орал я.

Лазутчик услышал. Пролетая мимо меня, он повернул голову и подморгнул мне. Я успокоился.

— Порядок, — сказал я Марку, — он будет первым.

— Не морочь голову, — сказал Марк. Под вопли ипподрома лошади вырвались на финишную прямую.

— Победил "Лазутчик", — объявили по радио.

Соседи по трибуне боязливо посмотрели на меня. Я тихо, по-идиотски улыбался. Соседи отодвинулись.

— Пойдем получать деньги, — сказал я Марку.

— Зря ты поставил на два заезда, — сказал Марк. — Теперь совершенно невероятно, чтобы ты выиграл. А за одну лошадь денег не дадут. Это не считается.

В перерыве я приставал к соседям, как Авессалом Изнуренков из "Двенадцати стульев".

— Не правда ли, какие прелестные лошадки? — спросил я ханыгу с испитой рожой в синем драном плаще.

— Чего? — мрачно огрызнулся он.

— Скажите, пожалуйста, какую примерно скорость может развить конь, если он бежит во весь опор? — спросил я паренька, который, сплевывая и матюкаясь через каждое слово, рассказывал товарищам, сколько, сука, гад, он, падла, выиграл, сволочь, вчера, падла, на седьмом, сука, забеге.

Пока он сообщал мне данные о скоростных особенностях отечественных жеребцов, я думал о том, что, в сущности, мы живем странной нелепой жизнью. Какого черта я сижу здесь и убиваю золотое время? И как это грустно все время остричь.

А потом я подумал о том, что мне уже двадцать пять. Что я ничего еще не сделал в жизни. Что единственное, чему я научился, — это молчать на собраниях. Что наша жизнь похожа на эти бега. Только не мы сидим в колясочках и управляем своими лошадьми, а кто-то сзади, кого мы не видим, сильной и умелой рукой направляет наш

бешеный бег к финишу, смысл которого лошадям не понять. Мы бестолково летим по кругу, стараясь опередить мчащегося рядом соперника, а трибуна взирает на нас с жалостью и азартом, и свистит, и улюлюкает. А потом мы уйдем в свои стойла, и служители в белых халатах принесут нам овса. Наверное, тем, кто пришел первыми, они насыпят чуть больше и похлопают их по лоснящимся бокам, от которых идет терпкий и теплый пар. А потом они будут разговаривать о своих делах, о путевках в дом отдыха, о кинофильме "Великолепная семерка", о блондинке в первом ряду. А мы будем слушать и жевать свой овес, кося глазом в стойло соседа. А потом мы, сытые и довольные, соберемся в табун и будем вспоминать то время, когда мы были дикими необъезженными скакунами. Как легко и вольно мчались мы по своим прериям, как звонко и призывно ржали нам молодые рыжие кобылицы, как сладка и чиста была вода на водопое в ущелье Белых Туманов и как, наверное, здорово вырваться из наших обрыдлых стойл и помчаться по Москве, заставляя прохожих пугливо прижиматься к стенам домов и не обращать внимания на светофоры... А завтра нас снова выведут на гаревую дорожку ипподрома. Надо работать...

Надо работать...

Начался второй забег. Я посмотрел на Марка и понял, почему он не поставил "на игру". Он боялся выиграть.

Вега шла под первым номером. Я безучастно проследил за тем, как она, вырвавшись вперед, легко и свободно первой пересекла линию финиша.

— Победила "Вега", — бесстрастно объявил диктор. Марк молча посмотрел на меня.

— Пойдем, — сказал я, — наша игра сделана, ставки кончены.

Мы подошли к кассе.

— Сударыня, — сказала я, — я выиграл.

— Я так и знала, — сказала кассирша, — несчастный вы человек.

— Почему это я несчастный?

— А потому, что теперь вы никогда не уйдете отсюда. Новичков всегда губило везение.

— Я же дал слово. Мы немедленно уходим из этой ша-раги, — сказал я.

— Я была бы счастлива...

И я поверил, что она искренна.

Я взял выигранные мною 45 рублей и пошел к выходу. По дороге ко мне подошел маленький потертый человек и сказал:

— Вот видишь, я же говорил...

Я дал ему рубль.

— Прощайте, сударь, — сказал я ему, — никогда не давайте советов профессиональным игрокам.

Он с уважением посмотрел на меня и молча ушел.

Мы вышли с Марком на Божий свет, на залитую солнцем Беговую, и я сказал:

— Марк, эти паршивые, даровые деньги жгут мою руку, мы должны немедленно избавиться от них. Я предлагаю пропить их сию же секунду.

— Идет, — отвечал он.

И мы вошли в ресторан "Бега" и сели за столик. К нам подскочил официант.

— Что угодно? — спросил он и вдруг осекся.

— То-то, то-то и то-то, — заказал я.

— И то-то, — добавил Марк.

— И еще то-то и две бутылки наипервейшего, наилучшего коньяка, — уточнил я.

— И маленькую чашечку кофе, — подвел итог Марк.

Когда все было выпито и съедено, я обвел глазами зал и вдруг почувствовал какое-то напряжение вокруг себя. Официанты подбегали друг к другу, перешептывались, глазами показывали на наш столик. Когда я встречался с кем-нибудь из них взглядом, они тотчас уходили.

— Что-нибудь еще? — спросил нас обслуживающий официант.

Я поднял глаза и узнал его. Это был один из тех, кто устроил скандал в "Марсианах". И все другие офици-

анты тоже были они. И они сразу узнали меня. И ждали, когда я буду пьян.

— Пока ничего, — сказал я пареньку, смотря ему прямо в глаза.

— Мара, -- шепнул я на ухо своему другу, — я очень, очень пьян, но мне совсем, ну совсем нельзя сейчас быть пьяным. Мы должны быть людьми. Потом я тебе все объясню.

Я отрезвел. Я в жизни не был так трезв.

— Здравствуйте, — сказал я официанту.

— Здравствуйте,— тихо сказал он.— Вы пришли за мной?!

И я увидел в его глазах страх. Это было отвратительно — он меня боялся! И я ничего не мог поделать с собой, я должен был до конца быть председателем Совета кафе "Марсиане". Я давно уже не был председателем, но перед ним я должен был быть им.

— Нет, — сказал я, — я не пришел за тобой. Я пришел в ваш кабак, чтобы показать вам, сколько может выпить мужчина и остаться трезвым, не терять свое лицо, не хулиганить, не бить посуду и людей. Быть человеком.

Во время этого монолога я ощущал себя гнусным ханжой, потому что я был пьян, потому что я врал, потому что я чувствовал свое превосходство над этим парнем, потому что закон был на стороне моей лицемерной добпорядочности, а он, этот парень, ничего не мог поделать с моей вонючей демагогией.

— А кроме того, — продолжал я, — я привел товарища, чтобы и он взглянул, как вы сейчас себя ведете, чувствуете ли раскаяние за тот ваш проступок. Верно, полковник?

Марк промолчал.

— Да так вышло... — сказал парень.

— "Вышло", — передразнил я.— Эх, вы. Сколько с нас?

— Сорок четыре рубля тридцать копеек, — прошептал он, совершенно оглушенный.

Мы расплатились и вышли на улицу.

— Марк, я пьян, как собака, держи меня, я сейчас сва-

люсь, — пробормотал я, когда мы твердой уверенной походкой вышли из ресторана и отошли за угол.

Я обнял моего друга за плечи, и мы заорали на всю Москву:

"Оружием на солнце сверкая.
Под звуки лихих трубачей,
Дорожную пыль поднимая,
Проходил полк гусар-усачей..."

И прохожие не удивлялись, потому что в Москве никогда ничему не удивляются.

А у меня "на потом" остался только парашют. Ну что ж, когда-нибудь прыгну...

14.

Я работал уже четыре года. Я полюбил свою типографию, привык к своим товарищам. Все нас спаивала общая беда — план. Мы все крутились в одном колесе, в одном ритме, когда тридцать первое число предыдущего месяца ничем не отличается от первого числа следующего. Мы знали одно — ежедневно надо дать столько рублей по валу и такое-то количество продукции. Мы хвастались друг перед другом цифрами и процентами. Мы увеличивали производительность труда и снижали себестоимость продукции. Мы внедряли новую технику и лаялись со слесарями. И вдруг я затосковал. Я затосковал по другому миру. Я хотел чистых воротничков и красивых галстуков. Я хотел покоя, безответственности и интересных разговоров о литературе и искусстве. Я устал выполнять план. Так бывает. Я сказал себе: для того, чтобы прожить интересную жизнь, я должен каждые четыре года менять профессию. Тогда я увижу новых людей, у меня будут разнообразные интересы, мне будет что рассказать детям и внукам.

...Я сижу в кресле. Ноги мои укрыты пледом. На моей голове — серебряное сияние. Мои внуки сидят рядом со мной. "Дедушка, расскажи, кем ты был в молодос-

ти". — "Ах, дети, — говорю я, — я прожил жизнь, полную прекрасных приключений и необыкновенных встреч. Посмотрите на эти фотографии, дети. Вот здесь я — со Львом Яковлевичем. Это мой первый учитель и начальник. Он был грубый и мудрый человек. Он горел на работе и требовал, чтобы мы тоже горели. Он влюбил нас в дело, он заставил нас понять, что дело — это главное, он был неистов и неотесан. Но он был человек. Он умер на работе. Он кричал на кого-то, а потом замолчал. Мы не любили, когда он молчал. Но на этот раз он замолчал навсегда. Он умер. У его гроба я сказал речь. Я сказал, что ураганная жизнь этого человека не прошла бесследно. Он живет. Я прочел стихи:

"Вот камень каменщик положит,
Пройдут влюбленные впотьмах...
Кто жив — живет, кто умер — тоже,
Один — в домах, другой — в томах..."

Лев Яковлевич живет в томах детских книжек, котормым он отдал свою жизнь. Снимите шапки, — умер настоящий человек!

А на этой фотографии изображен поэт Михаил Светлов. Это был светлый человек. Всей своей жизнью он оправдал свою фамилию. Он был всегда пьян, весел и мудр. Его любили все. Только очень плохие люди не любили Светлова. Очень плохие. Его шутки и афоризмы переходили из уст в уста и превращались в фольклор.

"Михаил Аркадьевич, — сказал я ему как-то. — Это правда, что вы сочинили куплет:

"Хорошо, что Ю.Гагарин
Не еврей и не татарин,
Не тунгус и не узбек,
А наш, советский человек"?"

Он задумался, а потом сказал:

"Нет, это не я сочинил. Вообще, мне приписывают Бог знает что. Я в своей жизни сочинил только одну эпиграмму. Даже не эпиграмму, а надпись на публичном доме: "За плоть заплоть!"

Однажды ко мне позвонили, незнакомый голос сказал: "Что ж вы, гады, делаете? Светлов лежит при смерти, совсем помирает старик, и ни одна дрянь ему не поможет. Хоть бы продуктов ему купили, сволочи!" — "Кто говорит?" — "Это я вам говорю". И трубку повесили.

Обеспокоенный, я набрал номер Светлова.

"Чего тебе? — сказал знакомый, картавый голос. — Чего тебе нужно?"

"Что с вами, Михаил Аркадьевич? Вы больны?"

"Конечно, болен. А кто теперь здоров?"

"Может быть, вам помочь?"

"А что ты можешь делать? Эй, ты, — закричал он кому-то в комнату, — не смей подметать мусор. Это мой мусор!"

"Ну, раз вы так кричите, значит все хорошо, — сказал п. — Так вам ничего не нужно?"

"Нужно, — подумав, сказал он, — мне нужен холодильник!"

"Зачем вам холодильник?" — удивился я.

Он шепотом отдельно сказал:

"Чтобы было куда прятать мой темперамент".

Я представил, как на его лице появилась знаменитая вольтеровская улыбка, и сказал:

"Хорошо, я вам достану холодильник".

Я повесил трубку и горячо пожалел, что произнес эти слова. Где я ему возьму холодильник?

"Девушки, где продается холодильник?" — спросил я сослуживиц.

"Да что ты. Толя, — защебетали девушки, что ты, за холодильниками надо стоять 3-4 года, там очередь, проверки... Что ты, это невозможно".

"Хорошо, — сказал я. Я поднял трубку и позвонил министру торговли. — По весьма важному делу, — ска-

зал я секретарше. — Товарищ министр, умоляю вас, помогите мне достать холодильник для замечательного советского поэта Михаила Светлова".

"Вы с ума сошли", — сказал министр.

"Товарищ министр, — сказал я, — Михаил Светлов — гордость нашей поэзии, — в сущности, одинокий старик. За ним некому ухаживать, у него портятся продукты. Дайте ему холодильник, и вы окажете услугу всей нашей литературе".

"Какой это Светлов?"

"Каховка, Каховка, родная винтовка", — запел я в телефон.

"А-а! — вспомнил министр. — Это тот Светлов?"

"Это тот Светлов", — заверил я министра.

"Ладно, позвоните моему заму, я дам распоряжение".

Этот холодильник стоил мне здоровья! Я звонил мамам и помам, в управления и магазины. Это было непростым делом. Оно двигалось по инстанциям. Наконец отчаявшись, я позвонил на коллегию министра.

"В чем дело, товарищ?" — спросил меня рассерженный зам.

"Я о холодильнике Светлова", — робко сказал я.

"Да, да, да, мне что-то говорили, — припомнил он, — сейчас я поставлю вопрос на коллегии".

"Товарищи, это звонят по поводу холодильника, для поэта Светлова. Есть предложение продать ему холодильник. Кто против? Вопрос решен, товарищ!"

Я позвонил Светлову.

"У вас есть деньги на холодильник?" — спросил я его.

"Какой холодильник?"

"В который вы положите свою память", — зло сказал я.

"Мой мальчик, — сказал он, — ты-таки достал мне холодильник? Бедный! Ну ничего, я посвящу тебе стишок".

Я привез ему сверкающий ЗИЛ, а он не успел посвятить мне стихотворение. Он был очень болен. И он умер в високосном году, в том самом, когда смерть прибора-

ла к рукам многих достойных людей и пощадила многих недостойных.

А вы видите эту фотографию, дети? Это американский писатель Джон Стейнбек. Он был похож на лесоруба. Он был бородат и смотрел на мир одним глазом. Второй глаз он открывал в исключительных случаях.

Он встретился с молодыми писателями и спросил их:

"Как вы боретесь, волчата?"

"С кем?" — не поняли "волчата".

"Со всем!" — отрезал он, не открывая второго глаза.

"Гм-гм!" — замаялись молодые писатели. Они боялись говорить и правду, и неправду. Молодой Аксенов сказал "гм", молодой Евтушенко сказал "гм", и все они сказали "гм". И лишь молодая Ахмадулина сказала: "Дорогой мэтр, не думайте, что мы такие дураки, что не можем ответить на ваши прямые вопросы. Но нас, ей-Богу, заботит нечто другое. Вчера я ехала в своем автомобиле, и милиционер отобрал у меня права. Он сказал, что я якобы неправильно веду свой автомобиль. Сейчас меня заботит лишь одно — как мне вернуть свои права..."

"Я вас понимаю! — воскликнул Стейнбек, открывая второй глаз. — Вы исключительно интересная собеседница, миссис!"

Вот, дети, — скажу я внукам, — я прожил интересную и разнообразную жизнь, чего и вам желаю. А для этого вы должны учиться в школе на хорошо и отлично..."

"Так могло бы быть, — подумал я, — если бы я сменил работу. Надо менять работу".

Недавно у нас в городе был показательный суд. Судили одного поэта за то, что он, нигде не работая, писал стихи. Странные стихи. В свои двадцать два года этот поэт успел поработать в девяти местах: он работал на заводе, работал грузчиком, работал в экспедиции и тому подобное. Он говорил, что изучал жизнь. Тогда встал общественный обвинитель и сказал: "Какой же ты человек? Ты тунеядец. Вот я поработал на одном месте сорок пять лет. Я не летун и горжусь этим".

Мне было ужасно жалко этого человека. Подумать

только — сорок пять лет на одном месте! Как он только не рехнулся, бедняга?

И я решил уйти с фабрики. Я подал заявление и пошел прощаться с коллективом.

15.

Это был страшный день.

Я шел по улице, втянув голову в плечи и не смотрел в лица прохожих. То, что передали по радио, было чудовищным. На углу моего переулка я всегда покупал газету у тети Фани.

— Дайте "Правду", тетя Фаня.

— Какой ужас. Толя,— сказала она, — какой ужас! Зачем они это делали? Чего им не хватало?

— Что они делали, тетя Фаня?

— А, не морочь голову! Все могло быть. Какое горе они накликали на нашу голову! — Она раскачивалась из стороны в сторону в своем киоске, как перевернутый маятник.

Я пошел в институт. Он гудел.

— Толя, сегодня собрание, будем обсуждать, — пробегая, крикнул мне комсорг.

В группе все было спокойно.

— Привет! — сказал я. — Варя, дай посмотреть конспект.

Она отскочила от меня как ужаленная.

— Не трогай меня! — крикнула она. — Ненавижу! Всех вас ненавижу! Не смей ко мне обращаться, слышишь! Я готова тебя убить!

— Дура, — сказал я и вышел из аудитории. Все слышали, что она кричала мне, и никто не шевельнулся.

Весь институт собрался в актовом зале.

— Бдительность! — говорили ораторы. — Только бдительность!..

Это был страшный день. Сегодня арестовали врачей...

И профессора Дунаевского тоже.. Боже мой, я же знал профессора Дунаевского...

16.

Я перешел работать в издательство. Я был важный начальник. В моем ведении была дюжина типографий в разных городах страны. Я должен был звонить по телефону директорам и спрашивать их:

"Ну, как план? Когда выпустите наши книги?"

Они должны были отвечать:

"План ничего, помаленьку. Ваши книги будем выпускать в срок".

Я должен был сказать:

"Ну что ж, товарищ, так, так... Это неплохо. Желаю успеха!"

Они должны были ответить:

"До свидания, товарищ!"

Как видите, все очень здорово. Не бей лежачего. Как говорил калькулятор Николай Семенович, "солдат спит, а служба идет". После моего сумасшедшего дома в типографии вполне приличный санаторий. Я отдыхал. Работа здесь кончалась ровно в пять. В половине четвертого все сотрудники начинали готовиться к уходу домой. Дамы красили губы, пудрили носы и причесывались, мужчины курили в коридорах и обсуждали последние футбольные матчи. Без пяти минут пять по всем лестницам издательства начиналось шествие закончивших службу. Они стлкнувались у входной двери, которую закрывала своим телом начальница отдела кадров. В левой ее руке был секундомер, а в правой — колокольчик. Ровно в пять она, как судья в поле, давала, так сказать, финальный свисток: ее колокольчик извещал нас, что можно выходить на улицу. И мы вываливались на волю... Видите, как просто и славно. Но через три недели такой жизни я загрустил: мне стало скучно. Я стал искать себе занятия, чтобы убить рабочий день.

Издательство наше, говоря языком сороковых годов, было самым крупным в мире. На всех собраниях начальство говорило: "Наше самое большое в мире издательство должно..."

Действительно, нас было более шестисот человек. Лев Яковлевич научил меня работать быстро.

"Одна нога здесь, другая — там", — говаривал он — и горе тому, кто сделает не так. Я так и делал. Когда я приходил на работу, то в первые сорок минут я делал все, что было положено за весь рабочий день, а потом я уже трепался с остальными пятьюстами девяносто девятью сослуживцами.

Это кое-кому не понравилось. То есть им не понравилось, что я делаю работу за сорок минут. В комнате нас находилось семь человек. Пять женщин, готовящих себя к выходу на пенсию, я и Витя Шикунов, мой ровесник, чудный парень, любимой фразой которого было: "Господи, не обращай ты на них внимания". С утра женщины обсуждали вопрос: открыть форточку или нет. Так как их было пятеро, то те, кто умолял открыть форточку, а то можно задохнуться,— всегда были в меньшинстве. Большинство аргументировало свои соображения так: "Дома у себя открывайте! Не хватало еще на сквозняке сидеть! Ничего с вами не будет!" Мы с Витей не принимали участия в этих баталиях, так как они длились до обеда, а у нас было, о чем потолковать.

Однажды одна из теток отвела меня в сторонку и сказала:

— Толя, вы должны понять, что работать в таком бешеном темпе нельзя. Вы же нас подводите, Толя. Мы уже много лет работаем в этом издательстве и знаем, как надо работать. Очевидно, что вы чего-либо не продумываете.

Я очень разозлился и даже наорал на нее.

Она тихо сказала:

— Ах, милый мальчик, вы ничего не понимаете. Мы нервные больные женщины, нам трудно, а вы...

И мне стало их жаль.

Я стал думать: а что бы было с издательством, если бы я был его хозяин? Я бы уволил две трети народу.

а оставшейся трети вдвое прибавил зарплату, и она, эта треть, отлично и спокойно выполнила бы всю работу. Правда, подумал я, это привело бы к безработице, а это не свойственно нашему обществу. Как же быть? А, черт с ними, пусть будет как есть.

Я поделился с Витькой этими мыслями, он сказал: "Господи, не обращай ты на них внимания!" — и мы пошли обедать.

После обеда у нас было собрание.

Я подмигнул Витьке и попросил слова.

— Товарищи, — сказал я, — по всей стране идут трудовые почины. Передовики на всех участках вносят свои предложения. В нашем же издательстве этого до сих пор не было. Я вношу предложение: я беру на себя работу пяти товарищей по отделу и обязуюсь выполнить ее в течение своего рабочего времени. Вызываю на соревнование тружеников других отделов.

Я сел. Витя Шикунов скромно похлопал. Тетки смотрели на меня с тяжелой ненавистью. Я выдвинул челюсть вперед и стал похож на супермена с популярного плаката "Храните деньги в сберегательной кассе".

— Тээк-с, — сказал товарищ Железкин, мой начальник. — Интересное предложение, Шифрин. О-ч-ч-чень интересное. А что будут делать товарищи, чью работу ты возьмешь на себя?

— Видите ли, Иван Васильевич, — сказал я — Такова жестокая поступь прогресса. Станок вытеснил ремесленника, автоматизация заменила рабочих, кибернетика уничтожит труд вообще. Я, так сказать, лишь винтик в общем процессе. Вы меня понимаете, Иван Васильевич?

Железкин любил со мной поговорить. Он был генералом в запасе. Когда его к нам прислали начальником, для нас с Витькой это был праздник. В издательстве

давно ходили шепотки, что начальник будет из генералов. И когда он появился на лестнице в погонах, при всех орденах и медалях, которые звонили, как церковные колокола на пасху, я от восторга не мог найти себе места. Я ходил вокруг него, ахая, цокая языком, качая головой, а потом сказал:

— Прошу вас, ваше превосходительство, никогда не надевайте на работу штатское. У меня с детства была потребность послужить под руководством вашего превосходительства. Штатский костюм как-то погасит рвение, а это, в свою очередь, плохо отразится на работе.

— Ты кто такой? — спросил генерал.

— Так что рядовой необученный Шифрин, ваше превосходительство, — отчеканил я.

— Зайди ко мне, Шифрин.

Я зашел. Витька, помирая от смеха и от страха за меня, остался за дверями.

— Излагаешь ты ловко, — сказал генерал, — только ты почему меня называешь "ваше превосходительство"? Хочешь, чтобы я обиделся?

— Никак нет, Иван Васильевич, — серьезно сказал я. — По старому табелю о рангах в условиях нашего издательства, директор — это "его сиятельство", вы, как заместитель, — "его превосходительство", я, как ваш помощник, — "его благородие", а Витька Шикун — "его степенство", поскольку ему все равно.

— Трепач ты, — сказал генерал, — ну раз так, черт с тобой, но только гляди, будешь позорить меня на людях — голову снесу. А так заходи, поговорим. Излагаешь ты ловко.

Он был славный мужик. Он входил в нашу комнату каждое утро. Я вскакивал и докладывал: "Ваше превосходительство, все по-старому. Потерь, к сожалению, нет".

Мы были довольны друг другом.

— ... Так прогресс, говоришь? — сказал он мне на

собрании. — Прогресс тогда прогресс, когда ты дельное что-нибудь скажешь, а так, языком молоть, каждый может!

— Это почему же "молоть", — обиделся я, — я всерьез говорю.

— "Всерьез", — передразнил он, — нашел над чем шутить? Вот посмотри на своих товарищей и подумай о них и о своем поведении.

Я посмотрел на моих теток. Они сидели с поджатыми губами и смотрели в пол.

И мне опять стало жалко их.

— Я снимаю свое дурацкое предложение, — сказал я. — Тут не в этом дело...

Окончание в следующем номере.



Григорий ЦЕПЛИОВИЧ

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ

Когда я вспоминаю детство, передо мной всплывает городок, в котором я родился, с его обитателями и, в первую очередь, образ Мули — городского сумасшедшего (какой городок не имеет своего сумасшедшего?!).

Мулю я очень любил. Я, семилетний мальчик, не мог понять, почему все считают его сумасшедшим? Муля дружил со мной и доверял мне свои сокровенные тайны.

Для меня Муля был нормальнее всех людей на свете. Одно лишь омрачало нашу дружбу — мои родители не разрешали мне даже разговаривать с ним. Во-первых, говорили они, он в три раза старше меня, а во-вторых, он сумасшедший. Разница в возрасте совершенно не мешала нашей дружбе, а что касается второй причины, то я с доводами родителей не был согласен, но сказать им, что они говорят неправду, я не решался.

Муля был очень красив. У него были черные курчавые волосы, жемчужно-белые зубы и большие серые глаза. Он всегда был чисто побрит, элегантно одет и надушен. Приятный запах духов меня немного пьянил.

Часто случается, что весенним днем тепловатый ветер коснется твоей щеки — и ты вспомнишь вдруг давно забытое событие из твоей жизни; вспомнишь о нем лишь потому, что когда-то в такой же весенний день тепловатый ветерок гладил твое лицо. И я вспоминаю Мулю особенно тогда, когда сладковатый запах духов начинает щекотать мое обоняние.

Муля доверял мне такие тайны, что, если бы я их кому-нибудь рассказал, мне бы не поверили. Я знал (и только я), что Муля — сын царя. Когда он был маленьким, его украла из царской постели цыганка и продала жестянщику, которого все считают его отцом. Жестянщик купил его, так как был бездетным и хотел иметь наследника. В царскую постель цыганка положила своего ребенка. Она хотела, чтобы сын ее стал царем и освободил из тюрем всех цыган-конокрадов.

Я с восхищением смотрел на Мулю, настоящее имя которого было Алексей. В теле у него, как у всех царей, были снежно-белые кости, а в венах текла голубая кровь.

Каждую субботу, когда мой отец отдыхал после обеда, я тихо, чтобы мать не заметила, выскальзывал из дому, убегал к речке, переходил через красный мостик, и там, в лесу, меня уже ждал Муля.

Когда Муля встречал меня в обществе моих родителей, он делал вид, что не замечает меня. Он незаметно подмигивал мне левым глазом, и я точно так же ему отвечал.

В один из субботних послеобеденных часов, когда мы оба лежали в лесу за рекой, Муля доверил мне самую сокровенную свою тайну. Он осмотрелся кругом, придвинулся ближе ко мне и начал тихо рассказывать. Каждый человек должен умереть, и ничто не может помешать этому, но он, Муля, знает средство, как выкрутиться от смерти. Все умрут, он один будет жить вечно. Я с восторгом глядел на Мулю. Только тогда я понял, насколько гениален он. Может ли сумасшедший быть таким мудрым? Он, конечно, и мне дал бы это средство, но, к сожалению, его можно использовать только один раз и действовать оно может только на него, Мулю. Он счастлив, что будет

жить вечно, но он будет очень тосковать по мне после моей смерти. Остальные его не интересуют, и не жалеет он даже своего родного отца, Николая.

Он серьезно посмотрел мне прямо в глаза и приложил палец к своим губам. Я повторил этот жест, как бы давая клятву молчания.

Но Муля все же умер. Он не выкрутился. Не помогло ему его средство. Умер он тогда, когда я уже был взрослым и понимал разницу между нормальным человеком и сумасшедшим. Но наша дружба не прервалась, и Муля верил в нее до последнего своего дня.

Уже понимая, кто он и что из себя представляет, я все же разговаривал с ним, как с нормальным человеком, забывая, что он сумасшедший.

Один психиатр мне однажды сказал, что ни один нормальный человек не может симулировать сумасшествие так естественно, как сумасшедший умеет обманывать и убеждать, что он нормален. Но Муля не обманывал. Он был убежден в своей правоте, он был искренне счастлив, что "выкрутится".

Когда он лежал тяжело больной и все окружающие знали, что это уже конец, Муля мне тихо сказал: "Я делаю вид, что болен, так нужно, чтобы никто мне не мешал. Увидишь, что в последний момент..." Тут он подмигнул мне левым глазом и улыбнулся. Я в ответ ему тоже подмигнул. Это был наш последний конспиративный разговор.

ИГРА

Неправда, что шалить любят только дети. Взрослые тоже любят шалить, иногда играть в детские игры и, как дети, фантазировать. Они только скрывают, им стыдно сознаться в этом. Дети честнее, они говорят правду.

Я вспоминаю моего друга, который целыми вечерами возился с детской настольной железной дорогой, полученной в подарок его семилетним сыном ко дню рождения. Он был так увлечен, что не замечал даже слез сына.

Я помню случай, когда моя соседка поссорилась со своей шестилетней дочерью из-за правил какой-то игры. Одна моя родственница до самой своей свадьбы играла в куклы, и весь комплект своих кукол принесла в приданое мужу. Мы подозревали, что и после свадьбы она не оставила своего увлечения — уж очень часто ее куклы меняли свои наряды.

Я, будучи уже парнем лет семнадцати, играл в свою игру. Во дворе дома, в котором я жил, стояла большая грузовая машина, и хозяин этой машины, мой сосед, часто брал меня с собой в поездки. Он считал, что дает мне возможность познакомиться с окрестностями, но для меня эти поездки были интересной игрой. Это был мой секрет. Я никому не рассказывал, боялся, что надо мной будут смеяться.

Когда я стоял в открытом кузове машины, облокотившись о крышу кабины и встречный ветер трепал мою шевелюру, я представлял себе, что я великий полководец, что въезжаю в освобожденные мною города и люди смотрят на меня с удивлением и восторгом, а я им улыбаюсь, не теряя при этом своего достоинства и величия.

Каждое утро, когда я просыпался, первым делом я подбегал к окну проверить, не уехала ли уже машина.

Позже, когда уже в рядах Советской Армии участвовал в боях против нацистов, мне часто приходилось въезжать в освобожденные города на открытой грузовой машине. И всякий раз я пользовался случаем, чтобы сыграть в свою игру. На сей раз у меня было совсем другое чувство. Мне казалось, что я очень молод, что я еду в машине моего соседа и что вся эта война и все освобожденные города только плод моего воображения.

Но самая интересная игра была в студенческие годы. В большом, шикарном помещении театра, где устраивались балы и свадьбы и где мы, молодежь, часто собирались, была одна стена зеркальная. Когда мы поднимались из гардероба в танцевальный зал по широким, покрытым красными ковровыми дорожками ступенькам, нам навстречу шла толпа веселых молодых людей во фраках и смокингах и девушки в длинных вечерних платьях. Это были мы в большом стенном зеркале. Молодые, счастливые, беззаботные, мы улыбались сами себе и оттуда, из глубины зеркала, весело себе подмигивали.

Поднимаясь по лестнице, окруженный массой людей, я представлял себе, что я известный государственный деятель дружественного государства, в честь которого проводится торжественная встреча. В зеркале я видел себя, молодого и стройного в элегантном черном костюме. Я с большим уважением осматривал себя, и тот, в зеркале, серьезно смотрел на меня, и его взгляд как бы предостерегал меня: "Держись, не выключайся из игры, если ты поведешь себя непристойно, я буду вынужден тебе подражать и потеряю весь свой авторитет". Я шел медленно и видел, что тот, в зеркале, мною доволен.

Я любил эту игру. Я даже нафантазировал, что я министр иностранных дел Италии (почему именно Италии?) и что мое имя Миро Тольяни. Откуда появился мой дипломатический ранг и кто окрестил меня этим именем, мне трудно сегодня объяснить. Думаю, что я и сам не мог бы ответить на этот вопрос.

Долгие годы я был оторван от города, в котором было то прекрасное здание театра с той лестницей и зеркальной стеной.

Когда судьба случайно меня забросила в город моей молодости, первое, что мне захотелось, — это посетить театр и увидеть себя в зеркале.

Подымаясь по лестнице, я чувствовал, как волнуюсь. Я увидел перед собой большую зеркальную стену и сотни людей в ней.

Но где я? Среди поднимающихся по лестнице, там, в зеркале, я увидел усталого пожилого человека с седыми волосами. Он как-то странно смотрел, как будто он кого-то искал и не мог найти.

Он искал того молодого человека, который когда-то приходил сюда, и он понял, что этого веселого беззаботного парня он никогда больше не встретит.

Мы оба подошли друг к другу. Я долго смотрел на него и он на меня, и для нас обоих было ясно, что игра окончена.



Редьярд КИПЛИНГ

ЕВРЕИ В ШУШАНЕ

Мебель, которую я приобрел для своего нового дома, была, мягко выражаясь, несколько ненадежна: ножки от стульев отваливались, а крышка стола при малейшем прикосновении начинала ходить ходуном. Но какова бы эта мебель ни была, за нее следовало заплатить, а на веранде ждал с квитанцией в руках Эфраим, который служил у местного аукциониста экспедитором и сборщиком денег. Мой слуга-мусульманин доложил о прибытии Эфраима словами "Эфраим, иегуди" — то есть "Эфраим, еврей". Тем, кто верит в то, что все люди — братья, следовало бы послушать, с каким выражением в голосе мой Элахи Букш перемальвал второе слово своими белоснежными зубами, чтобы затем выплюнуть его со всем презрением, на какое он отваживался в присутствии своего сагиба. Сам Эфраим был тихий, кроткий человек — настолько кроткий, что, казалось, уму непостижимо, как он выбрал для себя такое занятие, при котором в его обязанности входило собирать с людей деньги. Внешне он напоминал перекормленную овцу, и голос у него был соответствен-

ный. На его лице навечно застыла маска какого-то детского покорного изумления. Если вы уплачивали ему полагающиеся с вас деньги, он смотрел на вас с превеликим восхищением, как на диковинного богача; если же вы отсылали его прочь несолоно хлебавши, он, казалось, поражался вашей черствости. Не было на свете еврея, более непохожего на своих собратьев.

Эфраим был всегда обут в какие-то шлепанцы, сделанные из разноцветных обрезков кожи, и носил сюртук, сшитый, видимо, из тряпки для мытья полов и столь нелепого фасона, что в темноте он мог бы напугать самого отчаянного британского сержанта. Говорил Эфраим очень медленно, тщательно обдумывая каждое слово, чтобы, упаси Боже, никого ненароком не обидеть. Лишь после нескольких месяцев знакомства с Эфраимом мне удалось заставить его разговориться и рассказать о своих.

— Нас в Шушане восемь, — рассказал Эфраим. — Так мы ждем, когда нас будет десять. Когда же нас будет десять, мы сможем просить о собственной синагоге и не будем зависеть от Калькутты. А сейчас мы не имеем синагоги. И я, только я, я для наших людей и раввин, и мясник, и резник. Я из колена Иуды, я так думаю, хотя точно я не уверен. Мой отец был из колена Иуды, и мы-таки хотим иметь свою синагогу. И я буду раввин в этой синагоге.

Шушан — это большой город на севере Индии, там насчитывается целых десять тысяч жителей. И в этом-то многолюдстве затерялось восемь представителей Избранного народа, которые ждали часа, когда они смогут наконец стать полноправным приходом со своей собственной синагогой.

Всего, стало быть, было восемь евреев в Шушане: Мириам — жена Эфраима, двое их маленьких детей, еврейский приемыш-сирота, дядя Эфраима — седовласый старик по имени Израиль, его жена Эстер — родом из Кутча, некий Хаим Беньямин и наконец сам Эфраим — раввин, и мясник, и резник своей паствы. Все они жили в одном и том же доме на окраине сего великого града,

а вокруг их дома громоздились кучи селитры, и груды мусора, и битого кирпича, день-деньской стадами бродили коровы и столбом стояла пыль, поднимаемая животными, которых как раз мимо этого места гнали из города к реке на водопой. По вечерам городские мальчишки прибегали сюда на находившийся рядом с еврейским домом пустырь запускать воздушных змеев; но дети Эфраима держались поодаль, наблюдали с крыши дома, как местные мальчишки запускают змеев, но никогда не спускались вниз, чтобы принять участие в забаве. Сзади, за домом, был небольшой кирпичный сарайчик, в котором Эфраим каждый день приготавливал для своих соплеменников кошерную пищу по еврейскому закону. Однажды дощатая дверь сарайчика случайно толчком отворилась — ибо внутри происходила какая-то кутерьма, — и можно было узреть сборщика денег за его богоугодным занятием: ноздри его раздувались, и он вцепился обеими руками в шерсть обезумевшей овцы, которая отчаянно вырывалась. Эфраим был одет в странное облачение, не имевшее ничего общего с его всегдашним грязным сюртуком и шлепанцами из обрезков кожи; в зубах он держал нож. Единоборствуя с овцой в тесном сарайчике, он тяжело, с присвистом дышал и, казалось, был сейчас совсем не тем человеком, каким его всегда видели. Когда ритуальное убиение овцы было благополучно завершено, Эфраим обнаружил, что дверь открыта, и поспешно ее затворил, оставив на доске багровый отпечаток пальца; а Эфраимовы дети смотрели на все это с крыши, широко раскрыв глаза от ужаса. Вид Эфраима, занятого выполнением религиозных предписаний, был не таким зрелищем, которое хотелось бы наблюдать дважды.

В Шушан пришло лето, превратив засохшую грязь в железо и принеся в город болезнь.

— Нас болезнь не тронет, — уверенно говорил Эфраим. — И к зиме мы будем иметь свою синагогу. Мой брат с женой и детьми переедут сюда жить из Калькутты, так тогда я буду раввином в синагоге.

В душевные вечера старик Израиль выползал посидеть у

дома на груде мусора и посмотреть, как к реке сносят из города трупы.

— К нам болезнь не придет, — слабым голосом говорил старик. — Ибо мы Избранный народ, и мой племянник таки-да будет раввином у нас в синагоге. А они пусть себе умирают...

И он снова заползал в дом и затворял за собой плотно-плотно дверь, дабы отгородиться от мира всех этих нохрим.

Но Мириам, жена Эфраима, глядела из окна на то, как мимо дома проносят из города трупы, и говорила, что ей страшно. Эфраим утешал ее, расписывая, как он будет раввином в синагоге, и продолжал собирать с должников деньги по счетам.

Но однажды ночью умерли его двое детей, и на следующий день Эфраим их похоронил. В муниципалитет он об их смерти не сообщил, и статистически они так и остались числиться в населении города Шушана.

— Моя печаль — это моя печаль, — говорил Эфраим, и это было для него достаточным основанием, чтобы презреть законоположения, установленные санитарной инспекцией в нашей огромной, процветающей и на удивление мудро управляемой Империи.

Сирота-приемыш, которого Эфраим и Мириам воспитывали из милости, оказался неблагодарным маленьким хулиганом. Он выпросил у своих приемных родителей столько денег, сколько они согласились ему дать, и сбежал из дому куда глаза глядят, подалее от болезни. Через неделю после смерти своих детей Мириам ночью встала с постели и пошла по стране их искать. Она слышала их голоса за каждым кустом, они звали ее из каждого пруда, и она умоляла возникших на Большой Индийской Дороге не забирать от нее ее детей. Утром поднялось солнце и стало печь ее непокрытую голову, и она пошла в поле, где колыхались прохладные, влажные всходы, и легла на землю, и никто ее больше не видел, хотя Хаим Беньямин и Эфраим искали ее двое суток.

Выражение покорного изумления на лице Эфраима ста-

ло еще заметнее, но он сразу же нашел объяснение тому, что произошло.

— Нас здесь так мало, так мало, — сказал он, — а этих людей так много, и потому мы среди них незаметны, так Бог забыл о нас.

А в доме на окраине Шушана старик Израиль и его жена Эстер бурчали, что некому за ними присмотреть и что Мириам предала свой народ. Эфраим снова каждый день ходил в город собирать деньги по счетам, а по вечерам они вместе с Хаимом Беньямином сидели на груде мусора около дома и курили. Но однажды на заре Хаим Беньямин умер, перед тем заплатив Эфраиму все свои долги. И после того Израиль и Эстер целыми днями сидели одни дома, и, когда Эфраим возвращался из города, они плакались ему на свою одинокую старость и лили слезы весь вечер, пока не засыпали.

Через неделю Эфраим, спотыкаясь под тяжестью огромного узла с одеждой и домашней утварью, повел старика и старуху на станцию, где они ошалели от шума, гама и суетни.

— Мы уезжаем в Калькутту, — сказал мне Эфраим, за рукав которого цеплялась Эстер. — Там больше наших, а здесь мой дом опустел.

Он помог Эстер забраться в вагон и, обернувшись, добавил:

— Если бы нас было десять, так я был бы раввином в синагоге. Но нас было не десять, и наш Бог забыл о нас.

Засвистел паровоз, и остатки поредевшей общины двинулись с шушанской станции в путь на юг. А на перроне молодой лейтенантик, перебирая книги на прилавке киоска, насвистывал "Десять негритят".

Но мелодия звучала торжественно, как реквием. Это были поминки по евреям в Шушане.

*Перевел с английского
Георгий Бен*

ПОЭЗИЯ



Александр ГАЛИЧ

ПРИТЧА

По замоскворецкой Галилее
Шел он, как по выжженной земле.
Мимо белых окон "Бакалеи",
Мимо черных окон "Ателье".
Мимо, мимо — булочных, молочных,
Позабывших веру в чудеса.
И гудели в трубах водосточных
Всех ночных печалей голоса.
Всех тревог, сомнений, всех печалей
Старческие вздохи, детский плач.
И осенний ветер за плечами
Поднимал, как крылья, темный плащ.
Мелкий дождик падал с небосвода,
Светом фар внезапных озарен...
И уже он видел — как с восхода,
Через юго-западный район.
Мимо показательной аптеки,

Мимо гастронома на углу,
 Потекут к нему людские реки,
 Понесут признание и хвалу.
 И не ветошь века, не обноски —
 Он им даст начало всех начал...
 И стоял слепой на перекрестке,
 Осторожно палочкой стучал.
 И не зная, что пророку мнилось,
 Что кипело у него в груди,
 Он сказал негромко:
 — Сделай милость!
 Удружи, браток, — переведи!..
 Пролетали фары — снова, снова,
 А в груди пророка все ясней
 Билось то — несказанное — слово
 В несказанной прелести своей.
 Много ль их на свете, этих истин,
 Что способны потрясти сердца?!
 И прошел пророк по мертвым листьям,
 Не услышав голоса слепца.
 Было все — отныне и вовеки,
 Свет зари прорезал ночи мглу,
 Потекли к нему людские реки,
 Понесли признание и хвалу.
 Над вселенской суетней мышиною
 Засияли истины лучи...
 Но слепого, сбитого машиной,
 Не сумели выходить врачи!..

ПЕСОК ИЗРАИЛЯ

Помни —
 На этих дюнах, под этим небом,
 Наша, давным-давно, началась судьба,
 С пылью дорог изгнанья
 И с горьким хлебом...
 Впрочем, за это тоже: тогда раба!..*

Только
 Ногой ты ступишь на дюны эти,
 Болью, как будто пулей, прошьет висок...
 Словно
 Из всех песочных часов на свете.
 Кто-то сюда веками свозил песок!

Видишь —
 По глади моря бегут морщинки.
 Ветер тревожный запах мимоз принес.
 Слышишь,
 Как под ногами скрипят песчинки...
 Сколько — в одной песчинке — утрат и слез?!

Сколько
 Утрат, и горя, и лихолетий?
 Скоро ль сумеем им подвести итог?
 Помни —
 Из всех песочных часов на свете.
 Кто-то сюда — веками — свозил песок!

Тель-Авив
21 ноября 1975 г.

*Большое спасибо.



Натан ИОНАТАН

СТИХИ

О ПОЭЗИИ НАТАНА ИОНАТАНА

Из глубины подсознания приходят эти стихи. Такое чувство, что они рождаются не из слов, а из тончайших переливов светотени, из полутонов, из недосказанности, за которой всякий раз угадываешь глубину мысли, силу чувств.

По моему ощущению, стихи Ионатана не нуждаются в вольном переводе. Задача переводчика в данном случае по возможности не утратить своеобразия творческого метода поэта. Его стихи приходят как бы из снов, но они реальны. В то же время они приходят из реального мира, но они как бы сотканы из снов. Сложен мир, сложна человеческая душа,—говорит поэт. Поэтика Натана Ионатана современна и принадлежит к одному из ведущих направлений поэзии нашего века. И в то же время в ней присутствует дыхание вечности...

Лия Владимирова.

ЕЩЕ ОДНА ПЕСНЯ ПРО АВЕССАЛОМА

Лукав, как женщина, красив, как змей, как идол, скромн,
 Весь в золоте всегда, в кругу друзей, на лошадях...
 Теперь, скажите мне, где хитрость жен,
 Где блеск змеи, где идола невинность,
 Мечты его о царстве — где?
 Дуб, дуб лишь — от всего Авессалома.
 Плачь, плачь, отец, любовник старый, воин!
 Возничий, даже он, потупясь, плачет.
 О, так сломать хребет отца
 И надсмеяться надо всем, над смертью!
 Не мог ты подождать,
 О мальчик избалованный, пока состарюсь,
 Авессалом, мой сын, Авессалом!
 Корона сокращает путь к могиле.
 О, кудри твои, кудри, кудри! Разве
 Не знал, какая в них скрывается опасность?
 Зачем же обязательно сквозь лес?
 Забыл ты, что случилось с Ионатаном?
 И разве ты не знаешь тех деревьев?
 Отец любил тебя за все, в чем мы не схожи.
 Смотрите, как мужчина в дрожи весь!
 Ты думал, что тебе не дал я царства,
 Печась о благоденствии народа,
 Иль из-за юности твоей? О, если б
 Могли мы говорить с тобой спокойно,
 Ты понял бы: уж я не тот Давид,
 Боль матери твоей. Я царь усталый,
 Безрадостно плетущийся к могиле.
 Один лишь в сердце замысел таил:
 Хотел спасти хоть одного ребенка,
 Хоть одного — от войн и от венца,
 Хотел я, дурачок мой, лишь тебя,
 Тебя, Авессалом...

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Когда не будет больше крыльев у обмана, —
 Случится это, верно, самым чистым утром, —
 Мы тихо поплывем в воде реки холодной
 И с ледником, спускающимся с гор...
 Иль будем отдыхать в какой-то день в траве холодной,
 И будут лилии в реке спокойно плавать,
 Не будет больше надобности в песнях,
 Когда не будет крыльев у обмана.

В долинах будем мы лежать, спиной к спине горы прижаты,
 И по реке неслышно будут плыть мосты,
 Там, с черным лебедем, прекрасным, нежношеим.
 В день светлый будем мы лежать, спиной к спине горы прижаты,
 Мосты побиты будут на реке,
 Или река опустится к мостам,
 Или стена горы в долину приземлится...
 В какой-то день к реке прибиты будем.

И птицы с крыльями прекрасными, устало —
 Которым безразлично, где, откуда,
 До коих пор, куда и как летать, —
 Парят над нами, машут нам бесшумно,
 К бесшумному отсюда машут саду.
 И безразлично нам, откуда, где...
 Не почему, и не когда и ниоткуда...
 Когда в какой-то день одни в тот сад придем.

КАК БАЛЛАДА

И если любишь ты
 Венец, но лишь терновый —
 В пустыню я уйду,
 Там научусь страдать.
 И если любишь ты
 Стих, выбитый на камне,
 В ущельях буду жить
 И на камнях писать.

Когда ж покроемся
 Песками, тьмой ненастья,
 И Книгу Бытия
 Покроет мгла навек,
 Ты скажешь мне слова,
 Прекрасней слез и счастья:
 Как видно, он любил
 Меня — тот человек.

ОНА ЛЖЕТ И ПЛАЧЕТ

Я ей сказал: — "Пожалуйста, без милости твоей.
 Плывет в глазах твоих серебристый волос.
 Не знаю: он из моего снопа
 Иль гость какой-нибудь ночной тебе его тайком оставил?"
 "Одна лишь ласточка весны не предвещает, — сказала она, плача, —
 Но чайка, падая, как нож, вонзится в море осеннее..."
 Сказал я ей: — "Пословица для умных хороша.

Теперь, пожалуйста, без милости твоей.
 Иди со мной, сочтем спокойно связанные нити,
 Доколь не порвалась серебряная цепь.
 Оставит гость последний,
 Уйду я от тебя,
 Ты от меня уйдешь..."
 Так я сказал: — "Пожалуйста, без милости твоей..."
 Затем, что увидал в глазах ее серебристый волос.
 Она ж мне лжет про ласточку одну
 Осеннюю...
 Которая весны не предвещает.
 И лжет, и плачет.

*Авторизованный перевод с иврита
 Лии Владимировой.*



Михаил ТРОППЕР

АЛИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХИАТРИИ

Окончание. Начало во 2-м номере журнала.

"МЫ" И "ОНИ"

"...Я работаю больше всех и лучше всех. И иногда слышу, как мои коллеги ватки между собою говорят. Да они просто работают, как хаморим.* Не чувствую с их стороны ни искренности, ни сочувствия, ни доброжелательства. Вокруг меня полное безразличие..."

(Медсестра с тридцатилетним стажем, 54 года)

"Работал после ульпана в больнице, на зарплате, финансируемой из фонда абсорбции врачей. В результате бюрократической переписки в течение пяти месяцев не получал ни копейки. Прекрасно зная об этом, мой старший врач — у нас было всего три врача — в течение полугода ни разу даже не спросил меня: а как вы живете, коллега, есть ли у вас, на что существовать? Даже не предложил мне хотя бы нескольких лир на хлеб. Разве может быть большее бездушие и черствость?"

(Врач, 45 лет)

*Ослы

"Вы должны страдать. Не думайте, что вы приехали и сразу все получите. Когда я приехал, я спал в палатке всю зиму. Теперь этого нет. Но легко вам не будет и не должно быть легко".

(Из слов, сказанных начальником моему пациенту, инженеру, 40 лет)

"Когда я приехал, то получал 200 лир в месяц и жил в одной комнате с женой и детьми. А вы всё хотите за один день. Не будет вам этого. Трудом и потом вы должны этого достичь!"

(Врач, 42 лет, из слов, сказанных директором больницы моему пациенту)

Выдержки, приведенные выше, довольно типичны и отражают тяжелое настроение многих репатриантов. С другой стороны, едва ли не в каждой из этих записей легко улавливаются уже знакомые всем нотки "мы" и "они". Из уст репатриантов мне нередко приходилось слышать: "Как они нас ненавидят!", "Там мы были евреями, а здесь превратились в русских!" "Мы" — это новые олим. "Они" — это старожилы, "ватики", которые, впрочем, по части эмоций не остаются в долгу ("Чего им только не хватает — и машины у них, и квартиры почти бесплатно". Думаю, что в Израиле, стране эмигрантов, сама проблема "мы" и "они" — выдумана, она лишь отражает неизбежные трудности процесса адаптации, через которые в разное время проходят люди, приезжающие в страну. И когда мы говорим о взаимоотношениях новоприбывших со старожилыми и возникающих тут трудностях, то корни этих трудностей, по-видимому, надо прежде всего искать в социально-экономических условиях жизни страны.

Кроме того, в сознании новых олим часто происходит подмена понятий. Им кажется, что это плохое отношение со стороны старожилых, на самом же деле они просто наталкиваются на трудности, присущие вообще любой эмиграции. Ведь с того момента, как человек сходит с трапа самолета в Лоде, жизнь по старым меркам и старым привычкам полностью прекращается. Теоретически это понимают, кажется, все. Но одно дело "теория", другое —

пережить эту ломку эмоционально. Человек в короткий промежуток времени должен пересмотреть все свои взгляды на жизнь, в каком-то смысле сломать самого себя. Естественно, тяжелее всего это сделать людям, имеющим глубокие связи с прошлым, и именно у них наблюдаются чаще всего расстройства нервно-психической сферы. Так, например, установлено, что наиболее "богатой" всякого рода психопатологическими симптомами и синдромами является группа лиц, так называемого пострепродуктивного периода, в возрасте от 45 до 60 лет. Нередко депрессивную симптоматику обнаруживают и пенсионеры страны исхода, люди 60-65 лет. У многих из них в разной степени наблюдается более раннее развитие органического мозгового синдрома. Однако во всем этом менее всего повинен Израиль как таковой, а повинны стрессовые ситуации, возникающие у эмигрантов во всех странах мира.

В психологии новых олим часто происходят и другие изменения, опять же объективного характера и совсем не зависящие от их взаимоотношений со старожилыми. У некоторых репатриантов, например, наблюдается своеобразная идеализация прошлого, обусловленная, как мне кажется, действием двух подсознательных механизмов. Первый — это обнаружившееся несоответствие между идеальным образом "свободного мира", в который стремился человек, и суровой реальностью, с которой он столкнулся. Второй — это так называемый ностальгический механизм, когда человек, хотя умом и не согласен с тем, что происходило в стране исхода, но все же, как бы против собственной воли, тоскует по ее природе, по местам своего детства, по близким людям и т.д.

Характерно, что эти два подсознательных механизма наблюдаются с не меньшей, а, может быть, большей силой у эмигрантов, находящихся в Риме, Монреале, Брюсселе, Нью-Йорке. Причем с особой силой они проявляются у лиц, лишенных двух жизненно необходимых качеств человека свободного мира. Это — индивидуализм и инициатива. Эмигранты, прибывающие на Запад, очень часто

оказываются перед лицом так называемой фрустрации, то есть помехи в реализации их стремлений, планов, жизненных задач. Так вот люди, наделенные инициативой, оказываются способными сравнительно безболезненно переносить фрустрацию. Но это относится далеко не ко всем репатриантам из СССР, где сама система воспитывает в людях пассивность, иждивенческий дух, неспособность к быстрой переориентации в жизни.

Я уже говорил о том, что для многих приезд в страну оказался связанным с понижением в общественном положении. У людей, привыкших в своей прошлой жизни к авторитарности, лидерству, это вызывает самые болезненные стрессы. В качестве примера один только случай.

И. 54 года. В прошлом руководитель крупного торгового учреждения. Весьма честолюбив. В России быстро продвигался по служебной лестнице. По приезде в страну пережил ряд трудностей, связанных с несовместимостью с начальством по работе. Легко уязвим. Его претензиям быть всегда на виду не было практически конца. Произошел резкий конфликт на работе и в результате — тяжелая депрессивная реакция и попытка самоубийства.

Итак, в той или иной степени стрессам подвержена каждая эмигрантская семья, и я сомневаюсь в том, что существует возможность их полностью снять. Реальной выглядит лишь задача свести их к минимуму. И здесь мы подходим к роли тех, кто действует на ниве абсорбции. Приходится согласиться, что именно органы абсорбции и до сего дня являются тем местом, где новые олим получают больше всего психических травм. А происходит это не от того, что все лица, работающие там, тупы, безмозглы и бездушны, а, скорее, от того, что часто они просто не понимают тот человеческий материал, с которым по долгу службы им приходится иметь дело. Они не отдают себе отчета в том, что это люди, выросшие в совершенно иных социальных условиях, и к ним не применимы стереотипы отношений, установившихся между людьми на Западе. И по сей день в Сох-

нуге и Министерстве абсорбции сидят чиновники, убежденные в алчности, нечестности, стяжательстве новых олим. Столкнувшись с каким-то клиническим случаем, требующим скорее вмешательства врача, нежели полиции (к услугам которой время от времени здесь прибегают), эти чиновники готовы распространять свою неприязнь на всех, без исключения, олим. Между тем каждое их грубое слово, любое проявление неэтичности вызывает острую реакцию. Происходит так называемая негативная цепная гиперболизация рассказанного, когда совершенно незначительный, пустячный факт, распространяемый со скоростью, превышающей телеграфную, обретает вдруг трагическую окраску, травмируя не одного, а уже десятки людей.

ЛИЧНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ

Общеизвестно традиционное деление людей, в зависимости от их темперамента, — на холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов. В абсолютно чистом виде эти типы встречаются довольно редко. Да и оценивать темперамент человека с большой точностью нелегко даже для специалистов. Однако, основываясь на многочисленных наблюдениях и обследованиях, нельзя не прийти к выводу: лица сангвинического темперамента адаптируются легче и быстрее. Это происходит благодаря присущему сангвиникам умению устанавливать контакты, быть инициативными в общении, быстрее осваиваться в новой обстановке, и прежде всего на работе, где репатриант оказывается в кругу совершенно незнакомых людей.

Флегматики, напротив, с трудом общаются с новыми людьми. Поэтому процесс адаптации протекает у них куда болезненнее. Они с трудом привыкают к новому месту жительства и работы и в течение долгого времени тяготеют к привычной обстановке, к старому кругу знакомых, к языку страны их исхода.

С точки зрения быстроты адаптации репатриантов

может быть предложена и другая классификация. В этом случае многие черты сангвиников мы находим у так называемых экстравертов. Экстраверты — это люди, интересы которых направлены прежде всего на происходящее вокруг. Им противостоят интроверты, которые адаптируются куда труднее. Их пассивность, малая общительность, склонность к пессимистическим оценкам дают себя знать постоянно.

Когда мы говорим о роли характера и темперамента в процессе адаптации, нельзя не остановиться на лицах синтонного характера. В обиходе людей подобного типа обычно называют "легкими". Действительно, с ними легко иметь дело, они без труда перестраиваются в любой среде, присущее многим из них обаяние приносит им массу друзей.

"... У меня с первых же дней установились дружеские отношения с сослуживцами, которые проявили ко мне большое участие во время семейного горя. Нет у меня никаких оснований считать ватиков, встретившихся на моем пути, черствыми и жестокими... Сегодня у меня из их числа очень много друзей. Говорят, в Израиле тяжело жить. Все зависит от человека, от его подхода к другим людям".

(Л., техник, 36 лет)

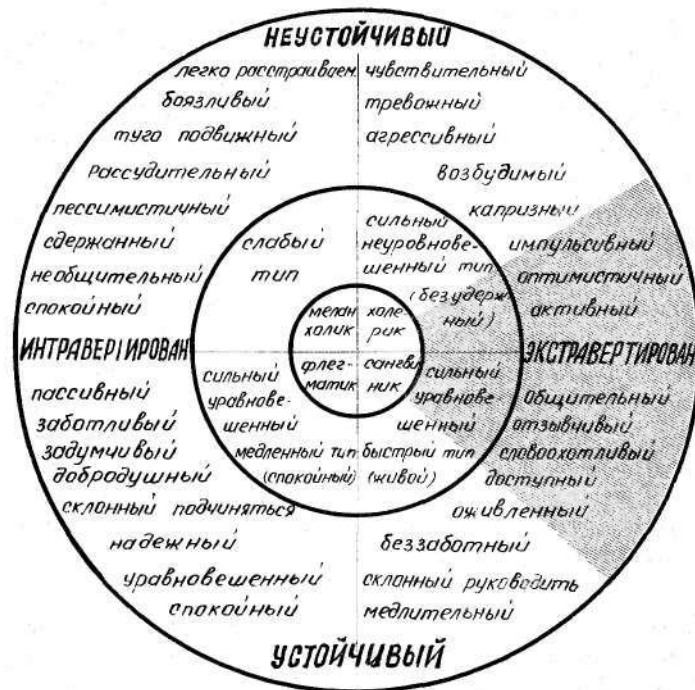
"... Моя адаптация прошла хорошо. И это прежде всего потому, что я стремлюсь видеть не плохое, а то хорошее, что сделано; есть в стране, конечно, масса недостатков, но это наша общая беда, это наш дом, и нам всем в этом доме следует наводить порядок".

(Т., бухгалтер, 48 лет)

Подобные высказывания характерны для экстравертов и людей синтонного характера. Ближе к ним примыкают так называемые циклотимики, т. е. люди непосредственные, реалистичные, легко внушаемые, но и легко отвлекаемые, люди веселые и подвижные, в отличие от противостоящих им шизотимиков.

Я попытался, допустив известное упрощение, синтезировать приведенные классификации, разработанные

в разное время Гиппократом, Галеном, Юнгом, Кречмером, Павловым, и на основе своего повседневного клинического опыта наглядно изобразить зависимость процесса адаптации от характера и темперамента людей.



Получилось три концентрических круга, на вертикальных и горизонтальных полюсах которых изображены полярные психологические типы, а между ними всевозможные переходные варианты. Заштрихованный сектор всех трех концентрических кругов включает те типы людей, которые быстрее и легче проходят через все стадии психологической адаптации.

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

Чаще всего конфликтные ситуации, которые приводят репатрианта в кабинет психиатра, так или иначе связаны с его работой. Я бы хотел остановиться, по крайней мере, на трех вариантах таких ситуаций.

Первый, — когда репатриант вынужден оставить работу, т. е. уступить свои жизненные позиции. В результате он входит в реактивное депрессивно-невротическое состояние и на определенное время становится пациентом психиатра.

Второй, — когда репатриант вступает в открытый конфликт со своим руководителем на работе. Этот конфликт нередко затягивается на неопределенное время, часто в него вовлекаются общественные силы, принимающие сторону репатрианта, например. Объединение новых олим, различные партийные группы, а иногда и депутаты Кнессета. Случается, что возникает настоящей бой, в ходе которого как работодатель, так и работающий оба становятся пациентами психиатра, иногда даже одного и того же врача. Я сам наблюдал такой случай, когда один из таких "воителей" приходил ко мне на прием утром, называя другого виновником своих сердечных приступов. Другой, приходя ко мне после обеда, с гневом доказывал, что тот первый своим поведением и доводит его до состояния крайней раздражительности днем и мучительных бессонниц по ночам.

И наконец третий вариант. Взаимоотношения репатрианта с его руководителем внешне носят весьма благопристойную форму, однако за этой внешней формой кроется непримиримость, которую необходимо постоянно тормозить. Иногда это проявляется в весьма своеобразной клинической картине. Вот только один пример из этой группы наблюдений.

И. 38 лет, инженер-исследователь. Женат. До прибытия в страну совершенно здоровый человек. Спортсмен. Специалист в весьма узкой области и поэтому дорожит полученной должностью в одной из немногих лабораторий его профиля. Убеден в низкой квалификации заведую-

щего лабораторией и в совершенно неправильной постановке работы по его вине. С начальником находится постоянно в корректных отношениях, так как, зная его характер, не сомневается, что в случае конфликта ему придется оставить лабораторию. Так вот, через год после возникновения этой ситуации И. стал отмечать повышенную потливость рук, чувство внутренней тревоги, дрожание левого века, а иногда даже и пальцев рук. Постепенно появились расстройства половой сферы, явления раздражительной слабости, кратковременность эрекции. Будучи человеком весьма чувствительным, он начал испытывать страх перед каждым сближением с женой, которая была моложе его на девять лет. Тщательные исследования не выявили у него никаких отклонений от нормы. Отсутствие каких-либо данных о наличии органической импотенции не оставляло никаких сомнений, что передо мной типичный случай функциональной импотенции невротического характера.

Или вот другой случай, на этот раз рассказанный мне одним из моих коллег.

"...Я столько слышу разговоров о низкой квалификации приехавших врачей, ко мне так безразлично относятся на работе, так пренебрежительно и отталкивающе-презрительно, что, проработав больше 20 лет хирургом, заведующим отделением, я испытываю волнение и даже страх, идя на каждую операцию... Руки трясутся, как у студента... Временами даже не узнаю себя: я это или не я. Просто не знаю, куда делось мое прежнее спокойствие, моя поражавшая всех профессиональная уверенность".

(С., врач, 56 лет)

Это ли не типичный пример "выращивания" комплекса неполноценности в результате неправильного отношения к С. других людей. Их же вполне можно считать носителями противоположного комплекса — переоценки собственной личности и профессиональной квалификации.

Что ж, теперь это уже аксиома: многие из старожилов недружелюбно, а порой и враждебно встретили нас. Этим был нанесен огромный, непоправимый вред делу алии. По-видимому, дарвинский закон борьбы за существова-

ние продолжает действовать и в наши дни. Именно страх потерять свое место, когда старожил видел перед собой более знающего или того же уровня репатрианта, становился во многих случаях определяющим судьбу последнего. Нельзя снять с правительственных учреждений (вплоть до самых высших) вину за то, что они плохо подготовили страну к приему качественно новой алии. Очень много потеряно. Кому-то закрывать на это глаза будет более, чем нечестно. И мне, психиатру, глядя на происходящее с профессиональной точки зрения, приходится все это с болью констатировать. Правда, за последнее время в работе тех, кто занят интеграцией новых олим, произошли известные сдвиги к лучшему. Вопрос только в том: не слишком ли поздно и в состоянии ли мы еще изменить создавшуюся ситуацию?

ПРОГНОЗ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Для репатриантов из Советского Союза профессиональные интересы являются определяющими в жизни. Так вот знакомая ситуация: репатриант переступает порог нового учреждения, новый человек входит в незнакомую ему группу, коллектив. Как у него сложатся взаимоотношения с этой группой? Многие наши жизненные промахи, неудачи, разочарования объясняются именно неспособностью разобраться во взаимоотношениях с людьми. Иногда даже свою личную жизнь можно безвозвратно загубить неумением понять ситуацию, неспособностью предвидеть, — подобно тому, как, скажем, это делает шахматист за доской, — каков будет следующий шаг того или иного человека в наших с ним взаимоотношениях.

Репатриант идет в новый коллектив с определенной надеждой и в то же время тревогой. И его взаимоотношения на работе, вначале робкие и стеснительные, затем более свободные, в большой степени зависят от того, насколько он умеет прогнозировать отношение к нему сослуживцев. Разумеется, здесь не могут не играть роли и его личностные особенности — субъективизм суждений, преобладание эмоциональности над рассудочностью, — все это очень яр-

ко проявляется в любом коллективе, где годами складывались вектора дружбы, круги желаемого общения, которые для нового человека, естественно, не так-то легко открываются. Другая сторона той же проблемы — это психологическая совместимость людей, фактор, который так часто не учитывается в практической жизни.

Р. 30 лет. Незамужняя. В стране 4 года. Чертежница. До репатриации уравновешенная личность, никогда не обращалась к врачам. Теперь обратилась по поводу бессонницы, протекающей по типу затрудненного засыпания и хронического раннего просыпания в 3-4 часа утра, сонливости в дневное время, сердцебиений, страхов, раздражительности по малейшему поводу. Никаких симптомов органического поражения нервной системы установлено у нее не было. Основная жалоба сводилась к напряженному ожиданию чего-то неотвратимо страшного. После нескольких бесед выяснилось, что с одной из сотрудниц по работе у Р. установились враждебные отношения, сопровождавшиеся бесконечными ссорами. Трудно было установить в этих ссорах субъективную вину той или другой. Просто, как говорят в обиходе, они не в состоянии были ужиться. В действительности, это был типичный случай психологической несовместимости, приводившей мою больную к постоянным срывам и в конце концов к тяжелому невротическому состоянию.

Каждый из нас нередко задается вопросом: доволен ли я своей работой? Для большинства людей интеллектуального труда именно работа — главный источник хорошего или плохого настроения. Известно, что удовлетворенность — это эмоциональное состояние, которое возникает при насыщении каких-то человеческих потребностей. Это состояние прямо зависит от характера потребностей и их глубины. Чем шире был и продолжает оставаться диапазон этих потребностей, чем они глубже, тем трудней полностью удовлетворить их. Я наблюдал степень "удовлетворенности" некоторых находящихся под моим наблюдением лиц, которые вынуждены были полностью переквалифицироваться после 10 или даже 20 лет работы по одной и той же специальности. Вот, например, такой факт:

"...Работа, которую я выполняю теперь, настолько примитивна для человека моей квалификации, что даже трудно себе представить. 15 лет я преподавал в вузе курс фонетики одного иностранного языка, теперь я агент страхового общества, хожу по учреждениям и домам... Никак не могу привыкнуть. Это все время глохнет меня".

(Бывший преподаватель, 59 лет)

Удовлетворенность работой — не есть вещь в себе. По-видимому, любой из нас должен сознавать, что эта удовлетворенность прямо зависит от возможностей реализовать наши запросы на практике. В такой маленькой стране, как Израиль, возможности, разумеется, ограничены. С этим объективным фактором нельзя не считаться. Люди определенных специальностей, приезжающие в страну, должны быть готовы к переквалификации. У какой-то части людей неизбежно возникнет неудовлетворенность своей работой. Как будто все здесь ясно, просто и понятно. Но субъективно, как это трудно перенести! Иногда даже невозможно без помощи психиатра.

БОЛЕЗНЬ — МНИТЕЛЬНОСТЬ

Жалобы на врачей — сколько их в наши дни! Не сделал врач определенного обследования, скажем, электрокардиографию или забыл назначить тот или иной биохимический анализ... В результате упущены сроки лечения...

В наш век технического прогресса люди все больше узнают о собственных болезнях. Многие читают медицинскую литературу, даже не будучи врачами. И довольно часто жалобы таких просвещенных больных не так уж необоснованны. Но следует хотя бы один раз подойти к проблеме и с противоположной позиции: а именно, подсчитать, сколько людей "невротизируется" в результате многочисленных и часто излишних обследований. Это происходит потому, что мы недостаточно вникаем в их душевные конфликты, не задумываемся над тем, как тот или иной человек перерабатывает эти конфликты в своем сознании. Совсем, казалось бы, безобидные сведения, сообщаемые больному (например, "у вас небольшие изме-

нения на ЭКГ" или же "да, знаете ли, ваш шейный отдел позвоночника совсем плох"), могут у человека определенного типа вызвать тяжелую реакцию. И когда это накладывается на стрессы абсорбции, эта реакция становится еще острее.

Я знаю пациентов, которые в течение года, через каждые месяц-два настаивают на проведении всякого рода обследований, а затем с огромным напряжением и тревогой ждут результатов. Мы, психиатры, узнаем этих пациентов по огромному конверту с результатами давних анализов, с которыми они обычно входят в кабинет. И, как правило, ни в одном из этих заключений нет указаний на серьезные нарушения. Выше я писал об этапах абсорбции и, в частности, подробно останавливался на стадии психологической конфронтации. Именно на этой стадии репатриант проявляет особое пристрастие ко всякого рода обследованиям. Именно в это время в его руках появляется этот разбухший конверт с анализами...

Б. Техник. 40 лет. Во время обследования у него была обнаружена большая цифра триглицеридов (один из показателей жирового обмена в крови). Обследование проводилось в связи с приговором ему после многих треволнений "квюнта" — постоянства. На его вопрос о результатах полученного анализа крови врач-интернист ответил: "У тебя много жира в крови... Ты тяжелый больной, знай это!" Трудно описать, в каком состоянии вошел спустя месяц этот больной ко мне в кабинет. Конечно, слова интерниста попали на "соответствующую почву". Больной был классическим представителем личностей мнительного типа. Страх перед болезнью, которая, по его мнению, быстро прогрессировала, изменил его до неузнаваемости. Он почти перестал двигаться, постоянно считал свой пульс, измерял температуру, на телефонные звонки отвечал еле слышным голосом тяжелобольного человека. Лечение разными лекарствами несколько не улучшило его состояние. Оставалась психотерапия. После пятого сеанса гипноза появились первые сдвиги к лучшему, а после восьмого сеанса он стал значительно спокойнее, ходил в магазин без сопровождения жены, его все реже мучили мысли о неизлечимой болезни, а спустя три месяца он с улыбкой говорил: "Даже сам не знаю, как я мог дать такую реакцию!" Оставаясь, конечно, человеком мнительного склада, он тем не менее благодаря психотерапии смог преодолеть срыв. Интересно, что лабораторные анализы, проведенные спустя полгода, выявили полную нормализацию состава крови.

ЭМИГРАЦИОННЫЙ НЕВРОЗ

В наш напряженный век все больше привлекает внимание медицины проблема сексуальной патологии. И психиатрия в этом смысле не остается в стороне. Проведенные мной обследования выявили многочисленные нарушения половой сферы, связанные с процессом адаптации. Хочу упомянуть лишь один аспект этой сложной проблемы: а именно, влияние более быстрой и легкой адаптации женщин, в частности жены, на нормальную половую жизнь супругов. Обследования, проведенные в девятнадцати семьях, показали, что возникновение функциональной импотенции у мужей было обусловлено тем фактом, что их жены, быстро устроившись на работу, легко освоив язык, за 2-2,5 года смогли полностью адаптироваться в новой среде, тогда как мужья продолжали "висеть" в состоянии неопределенности. Жены де факто становились главами семей и порой даже основными кормильцами. Подобный семейный переворот в сторону "матриархата" вызывал у мужа самоощущение более слабого и неудачливого партнера. И именно это приводило к функциональной импотенции. Так на трудном пути адаптации на почве комплекса неполноценности возникает тип человека, теряющего потенцию и в жизни, и в семье.

Мои записки, которые, естественно, не претендуют на роль научной публикации, подходят к концу. Мне так и не удалось рассказать даже о сотой части многочисленных заболеваний, приводящих человека в кабинет психиатра. Мне пришлось наблюдать более пятисот человек на разных стадиях абсорбции и видеть почти фотографическое сходство нервно-психических проявлений то у одного, то у другого. Я наблюдал, как изменяются эти симптомы и синдромы по мере перехода людей от одной стадии к другой. Их состояние улучшалось как под влиянием врача, так и под влиянием стабилизации их положения в стране. И все эти наблюдения позволяют считать, что в основе многочисленных психических отклонений лежит общий исходный радикал — трудности адаптации.

Вот почему, несмотря на разнородность наблюдаемых мной симптомов, они все могут быть объединены и названы неврозом репатриации. Возможно, кто-то из читателей, прочитав эти записки, разочаруется, так и не найдя в них блуждающих по крышам лунатиков, галлюцинирующих алкоголиков или бредовых больных, называющих себя Бонапартами или Александрами Македонскими. Когда я брался за эти записки, меня менее всего занимала "психиатрическая романтика". Будни, тяготы абсорбции, которые столь часто оказываются в зеркале психиатрии, — вот что хотел я сделать темой этих записок. И если кто-то, прочтя их, заметит, что все у меня слишком черно, то мне ничего не остается, как ответить: к нам обращаются лишь люди, у которых есть проблемы. Спокойные, уравновешенные, довольные жизнью и поющие от счастья на улице стараются за 100 километров обойти кабинет психиатра. Поэтому писать иначе — означало бы просто быть неискренним.



Александр ВОРОНЕЛЬ

АНДРЕЙ САХАРОВ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А. Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально происходит, только как человек, т. е. если бы он не был ученым? Я думаю, что — нет. И этот мой ответ характеризует не столько А. Сахарова, сколько мир, в котором мы живем. Но основывается он на моем представлении о Сахарове как человеке. Если бы А. Сахаров был политиком, он, я думаю, не выдержал бы конкуренции других, более бойких кандидатов на первых же этапах своей карьеры. Он не смог бы упрощать свою мысль для того, чтобы получить временный успех, а тогда он не пробился бы до того уровня, на котором можно думать об успехе серьезно. Хотя политическая жизнь в СССР совершенно отличается от жизни в демократических странах, сказанное равно относится и к демократическим странам тоже. А. Сахарова не выбрали бы даже членом муниципалитета, потому что он бы слишком глубоко задумывался, прежде чем что-нибудь сказать, а ни у кого в этом мире нет терпения выслушивать.

Если бы Сахаров был писателем, он не имел бы успеха, потому что он не смог бы указать правых и заклеймить виноватых, как делают писатели гражданские, и не оказался бы достаточно артистичен, как писатель лирический. У него не достало бы эгоизма привлечь весь мир в свидетели своих душевных неурядиц и не хватило бы одержимости говорить миру, который не желает слушать.

Если бы Сахаров был школьным учителем, на которого он похож своей добротой и манерой поведения, — стал ли бы мир его слушать? И когда бы его выгнали с работы или посадили в лагерь за те же самые слова, максимум, на что он мог бы рассчитывать, — это подписи нескольких добросердечных интеллектуалов под письмом в его защиту, направленным в советское посольство. А потом — на тихую жизнь, заполненную полезным физическим трудом, либо в ссылке в Сибири, либо в эмиграции, в Миннеаполисе...

Однако и если бы он был просто ученым или даже великим ученым, ситуация бы не слишком изменилась. То есть, конечно, ученые прислушивались бы к его словам, и на международных конференциях, посвященных физике и строению мира, раздавались бы слова о научной свободе, о необходимости прислушиваться к ученым и т. д. Только ученые в нашем мире знают, что необходимо прислушиваться к ученым. Все остальные знают только, что с учеными надо как-то поладить, т. е. в конечном счете от них (и от их предложений) отделаться. Поэтому и в этом случае слова Сахарова дальше ограниченного круга беспокойных профессоров (в большинстве евреев) не пошли бы. А он не стал бы предпринимать усилий, чтобы попасть в газеты, выступить по радио, встретиться с сенаторами и конгрессменами...

А. Сахаров — не просто ученый. Будучи человеком очень скромным, он как-то сказал мне: "Ну какой я ученый? Я ведь, в сущности, изобретатель". Он несомненно преувеличивал, но, как всякий великий человек, очень точно видел суть проблемы. Суть проблемы в том, что

миру не нужны ученые и сильные мира сего не ценят мудрецов. Сахаров есть Сахаров и для советских властей, и для западных обывателей не потому, что он ученый, а потому, что он — изобретатель. И изобрел он — ни много ни мало — водородную бомбу, от которой весь этот мир может взлететь. Особенностью сегодняшней техники является необходимость быть ученым, чтобы изобрести что-нибудь значительное. Но это не меняет того основного факта, что мир интересуется вещами, а не идеями, явлениями, а не сущностью...

Собственно, если бы А. Сахаров не стал бы ученым, он вообще не смог бы сложиться как личность и не приобрел бы своего влияния. Только в науке сейчас ничего не значит большинство голосов (даже в искусстве — это не так), и только в науке основательность и глубина весят больше быстроты и практичности. Медлительный, вдумывающийся в каждое слово, Андрей Дмитриевич, как бы прислушивающийся к неясно различимому голосу в себе и явно допускающий практические ошибки, мог бы быть принят только в обществе, где нет окончательных истин и где даже самый опрометчивый может оказаться прав... Таким обществом сейчас (во всяком случае, в Советском Союзе) является только общество ученых, и Сахаров является одним из лучших представителей такого типа. Но такая атмосфера в прошлом царила не среди ученых, а среди религиозных мыслителей, отшельников, философов, пророков. Мудрость Талмуда связана с таким относительным агностицизмом, и Евангелия характеризуются такой особой неуверенностью в теоретических вопросах, которая покоряет в Сахарове. Весы совести все время колеблются, и номинальный вес гирь сплошь и рядом не соответствует фактическому (а иногда и меняется со временем). Это происходит на твоих глазах, и ты смотришь и вдруг понимаешь: "Святой!" Пожалуй, даже более определенно — христианский святой, подвижник, хоть сейчас в мученики...

А как же "ученый", а "изобретатель"? Как же, как же... А чудеса!..

Главная функция всякого порядочного святого — умение творить чудеса. Скажем прямо: мир интересуется учеными, потому что ожидает от них чудес. Все великие изобретения, которые так изменили лицо мира за последние десятилетия, воспринимаются обывателем и его государственным представительством как чудеса, которые способны творить одни личности и не способны другие. Популяризация науки и всеобщее образование нисколько не сглаживают разрыв между "учеными" и обыкновенными людьми, хотя эти люди могут быть не менее учеными и не менее квалифицированными в своей области. И вот, то самое, что неоднократно было им говорено и отброшено, слышат они от человека, творящего чудеса, и в душу закрадывается страх...

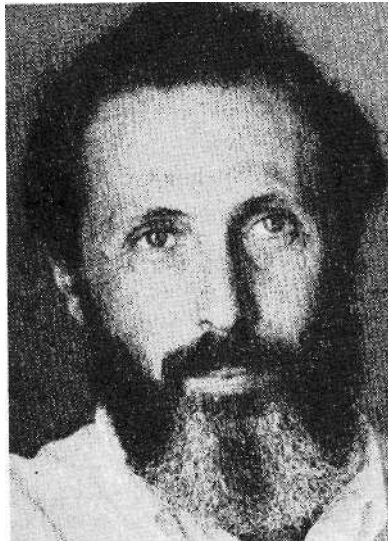
Разве слушал Фараон Моисея? Но Моисей сотворил чудеса... Фараон задумался. Разве нужны были чудеса, чтобы понять, что говорил ему Моисей? "Мы пришли сюда свободными людьми, а теперь мы — рабы", "Отпусти народ мой" и пр. Но вот понадобились чудеса, и Десять казней египетских, и Огненный столб: и евреи свободны. Что же? Слушали ли они сами Моисея?— Нет! И опять пошли чудеса... Огненные столбы и атомные грибы вырастают, чтобы подтвердить простую мысль-заповедь: "Не убий!" Такие положительные чудеса, как манна или пенициллин, недостаточны для усвоения этой мысли. Эти чудеса учат людей не собирать в житницы и надеяться на авось. Чтобы удержать их от массового взаимного убийства, нужно что-то пострашней, и вот оказалось недостаточно даже динамита и 1 мировой войны. Была и 2-я, и атомная бомба. И теперь — водородная... Справедливо, что премию Нобеля, изобретателя динамита, присуждают Сахарову, изобретателю водородной бомбы, за стремление к миру, за его мужественную борьбу в пользу прав Человека. Если человечество погибнет, оно погибнет не от водородной бомбы и не от динамита. Оно погибнет от собственного неразумия. Динамит сам по себе никого еще не убил. Обязательно была рука, которая этот динамит зажгла и бросила. И, впрочем, часто тот, кто бросал

первым, получал преимущество и, может быть, уходил от возмездия. Но чудеса Божьи совершенствуются, как люди. Тот, кто бросит бомбу теперь, не уйдет от возмездия. Народ, который замышляет убить другой народ, теперь смертельно рискует и подвергает риску весь мир вокруг. Это страшно. Но я думаю, что это хорошо. Как и раньше, найдутся безответственные смельчаки. Но теперь, не как раньше, всем не будет наплевать. Найдутся и те, кто удержит преступную руку. Не из благородства, к сожалению, а ради собственной безопасности. И это хорошо...

Таким образом, А. Сахаров (как и его американский коллега Э. Теллер) не несет вины за создание смертоносного оружия, а участвует как изобретатель в создании технического чуда, которое должно вразумить народы и направить их энергию на более разумные цели, чем смертоубийство. И Андрей Сахаров первый выступил с предупреждениями перед советскими вождями. Что значит выступить перед такими людьми с такими предостережениями, может себе представить только либо человек, выросший в СССР, либо человек, твердо помнящий, что пророк Исаяя был, по приказу царя, перепилен деревянной пилой. И все же, оставаясь на современной почве, скажем просто, что он выполнил свой долг ученого. Ибо, оценив все последствия своего изобретения, он уже перестал быть просто изобретателем и стал Ученым.

Наконец, идя дальше по этому пути, взяв ближе к сердцу людские заботы, Андрей Дмитриевич связал вопрос о Правах Человека с вопросом о Мире, и эта постановка вопроса все еще нова. Почти никто на Западе еще не понял, что война, которую советские власти ведут со своим народом, не может не коснуться их. Запад еще не понял, что мирной может быть только страна, внутри которой царит мир, и отсутствие этого покоя в СССР есть смертельная опасность для всех. Вопрос о Правах Человека не есть больной вопрос только для СССР. Больше 60% Объединенных Наций пренебрегают правами человека, и это значит, что опасность грозит миру со всех

сторон. Большинство человечества не просто нарушает права отдельных лиц и групп. Большинство человечества не знает, что оно нарушает, и что Господь сообщил евреям на горе Синай 10 заповедей. Поэтому у большинства нет даже общей почвы для переговоров. А. Сахаров пророчески указал на это всему цивилизованному миру и тем самым стал великим Человеком.



Борис ОРЛОВ

МИФ О ФАННИ КАПЛАН

Окончание. Начало во втором номере журнала.

VI. "ЭТО СДЕЛАЛА НЕ Я"

Итак, за несколько кварталов от завода Михельсона комиссар Батулин видит женщину, которая удивляет его только своим странным видом. Он задает ей простой вопрос: кто она и зачем сюда попала? "На мой вопрос,— говорит Батулин,— она ответила: "ЭТО сделала не я"*.

Самое поразительное в ответе — его несоответствие вопросу. На первый взгляд он дан просто невпопад. Впечатление это обманчиво, ответ раскрывает многое. Во-первых, он опровергает ложное утверждение, что Фанни Каплан сразу и добровольно призналась в попытке покушения на Ленина. Однако главное в ответе — его психологическая окраска. Фанни настолько углублена в себя, что не слышит задаваемого вопроса. Ее первая реакция — это реакция оправдания. Но Каплан оправ-

дывается в момент, когда ее никто не обвиняет. Более того, ее детский по форме ответ показывает, что Каплан, в сущности, и не знает подробностей случившегося. Она не могла слышать выстрелов вдалеке от завода и видела только людей, бегущих с криком "лови, держи!". Поэтому она говорит в самой общей форме "ЭТО сделала не я".

Странный ответ возбудил подозрительность Батулина. Он обыскал ее карманы и, взяв портфель и зонтик, предложил следовать за собой. Никаких доказательств виновности задержанной в покушении у него не было. Однако сам факт задержания подозрительного человека создал атмосферу выполненной задачи и внушил иллюзию оправданности задержания.

Все дальнейшее, послужившее основанием для обвинения Фанни Каплан в покушении на Ленина, в юридические рамки не вмещается.

"В дороге,— продолжает Батулин,— я ее спросил, чья в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина: "Зачем вы стреляли в тов.Ленина?", на что она ответила: "А зачем вам это нужно знать?"— что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов.Ленина"*

В этом немудреном умозаключении — синтез эпохи. Классовое чутье — вместо улики, убеждение в виновности — вместо доказательств вины.

А вокруг задержанной начали уже накаляться страсти ошеломленной покушением толпы. Кто-то вызвался помогать Батулину сопровождать задержанную (не забудем, что никакого оружия, кроме зонтика, при ней найдено не было). Из толпы стали раздаваться крики, что стреляла именно она. Позднее, после газетных сообщений о виновности и казни Каплан, Батулину казалось, что кто-то из толпы узнал в этой женщине человека, стрелявшего в Ленина. Неведомый "кто-то" допрошен не был и свидетельских показаний не оставил. Однако в первоначальных, самых свежих показаниях Батулин утверждает только

* "Прол. революция", стр. 279

Там же, стр. 280.

то, что были крики из толпы и что стреляла эта женщина. И тогда толпа пришла в неистовство. "Убить! Растерзать на куски!"— кричали разъяренные рабочие.

В этой обстановке массового психоза толпы, на грани линчевания на повторный вопрос Батулина: "Вы стреляли в тов. Ленина?"— задержанная неожиданно ответила утвердительно.

Столь несомненное в глазах толпы подтверждение виновности вызвало, по-видимому, такой приступ бешенства, что потребовалось создать цепь из вооруженных людей, чтобы предотвратить самосуд и сдержать бушевавшую массу, требовавшую смерти преступнице.

Каплан привели в военный комиссариат Замоскворецкого района, где она и была впервые допрошена.

VI . ВЫ ЗНАЛИ ЖЕНЩИНУ ПО ИМЕНИ КАПЛАН, ГОСПОДИН ЛОККАРТ?

Личность задержанной Батулиным женщины была установлена сразу. Протокол первого допроса начинался словами: "Я, Фаня Ефимовна Каплан..."

Это не помешало ВЧК заявить на следующий день, что стрелявшая и задержанная женщина отказалась назвать свою фамилию. Сообщение ЧК многозначительно намекало на наличие неких данных, указывающих на связь покушения с определенной организацией. Одновременно следовало сенсационное сообщение о раскрытии грандиозного заговора союзных дипломатов, пытавшихся подкупить латышских стрелков, охранявших Кремль. Следующей ночью был арестован британский консул Брюс Локкарт. Он действительно находился в контакте с представителями латышских стрелков, якобы оппозиционно настроенных по отношению к советской власти, на деле являвшихся агентами ЧК.

Конечно, никаких данных о связи покушения на Ленина с так называемым заговором Локкарта у ЧК не было. Петерс, замещавший уехавшего в Петроград Ф.Держинского, вынашивал заманчивую идею соединить вместе покушение на Ленина и дело Локкарта в один гранди-

озный заговор, раскрытый благодаря находчивости ЧК.

Первый вопрос, заданный арестованному и доставленному на Лубянку Локкарту был: знает ли он женщину по имени Каплан? Разумеется, Локкарт понятия не имел, кто такая Каплан.

На фоне раскрытия заговора Локкарта и происходили допросы Каплан. Нервная обстановка этих дней не могла не сказаться на ее участии.

В нашем распоряжении имеется 6 протоколов допроса Ф.Каплан. Первый начат в 11 часов 30 минут вечера 30 августа. На пятом имеется пометка: "31 августа 1918 года 2 часа 25 минут утра". Есть все основания предполагать, что этот допрос был последним допросом Фанни Каплан.

В ночь с 31 августа на 1 сентября был арестован Локкарт. В 6 часов утра к нему в камеру на Лубянке ввели Каплан. Возможно, Петерс обещал сохранить ей жизнь, если она укажет на Локкарта как на сообщника в деле покушения на Ленина. Каплан молчала, и ее быстро увели. Оставленные нам Локкартом впечатления от этого визита уникальны, так как дают единственное сохранившееся портретное и психологическое описание Фанни Каплан в момент, когда она свела уже все счеты с жизнью. Это описание заслуживает быть приведенным целиком:

"В 6 часов утра в комнату ввели женщину. Она была одета в черное. У нее были черные волосы, а глаза, устремленные пристально и неподвижно, окружали черные круги. Ее лицо было бледным. Черты лица, типично еврейские, были непривлекательны. Она могла бы быть любого возраста, от 20 до 35 лет. Мы догадались, что это была Каплан. Несомненно большевики надеялись, что она подаст нам какой-нибудь знак. Ее спокойствие было неестественным. Она подошла к окну и, склонив подбородок на руку, смотрела сквозь окно на рассвет. Так она оставалась неподвижной, безмолвной, покорив-

шейся, по-видимому, своей судьбе, до тех пор, пока не вошли часовые и не увели ее прочь". *

Это последнее достоверное свидетельство человека, видевшего Фанни Каплан живой. Теперь попытаемся восстановить биографию Фанни Каплан, пользуясь прежде всего ее собственными показаниями.

VII. "ПО-ЕВРЕЙСКИ МОЕ ИМЯ ФЕЙГА..."

Фанни Ефимовна Каплан родилась в 1890 году, в Волынской губернии, в семье еврейского учителя. "По-еврейски мое имя Фейга,— писала она в своих показаниях.— Всегда звалась Фаня Ефимовна".

До 16 лет Фаня жила под фамилией Ройдман, а с 1906 года стала носить фамилию Каплан. Причины перемены фамилии она не объяснила. Однако было у нее и другое имя — Дора. Под этим именем ее знали Мария Спиридонова, Егор Сазонов, Штейнберг и многие другие.

Несмотря на учительскую профессию отца, семью Фанни вряд ли можно было отнести к интеллигенции. Четыре брата и три сестры ее были рабочие. Воспитание Фанни получила домашнее. В 1911 году вся семья уехала в Америку.

Шестнадцатилетней девушкой она примкнула к анархистам и в 1906 году была арестована в Киеве по делу о взрыве бомбы. Бомба готовилась для террористического акта, но взорвалась преждевременно дома, и Фанни была ранена. Этим, собственно, и исчерпывается ее опыт террористической деятельности.

Военно-полевой суд приговорил Фанни Каплан к смертной казни, замененной по молодости вечной каторгой, которую она отбывала в Мальцевской каторжной тюрьме, а затем в Акатуе.

На каторгу Фанни попала совсем молодой девушкой. Ее взгляды сильно изменились в тюрьме, главным образом под влиянием известных деятелей партии социалис-

тов-революционеров, с которыми она вместе сидела, прежде всего под влиянием знаменитой Марии Спиридоновой.

"В тюрьме мои взгляды оформились,— писала Каплан,— я сделалась из анархистки социалисткой-революционеркой".

Она говорит об оформлении взглядов, а не о формальном вступлении в партию эсеров. Ее официальная партийная принадлежность остается весьма спорной. Сама Каплан в момент ареста и первого допроса заявила, что считает себя социалисткой, но ни к какой партии не принадлежит. Позднее она уточнила, что по течению эсеровской партии больше примыкает к Виктору Чернову. Это было единственным, достаточно шатким основанием для объявления Каплан принадлежащей к партии правых эсеров.

На каторге Фанни ослепла. Возможно, это было следствием ранения, полученного при взрыве бомбы. Частичная, а затем полная слепота поразила ее на несколько лет. Потеря зрения была связана с резкими головными болями, что заставляет предположить серьезное мозговое заболевание. Затем после трех-четырёх лет полной слепоты зрение частично восстановилось. Оно вернулось к Фанни Каплан еще в большей степени в результате операции, которую она перенесла уже после освобождения, осенью 1917 года, в Харькове.

Мы не случайно уточнили время совершения покушения и выяснили, что оно произошло поздно вечером, почти ночью, в глубокой темноте. Обладая сильным дефектом зрения, Каплан физически была не способна совершить покушение с той точностью, с какой оно было осуществлено. Этот же дефект зрения объясняет отчасти ее испуганный и затравленный вид. Она просто ничего не видела в темноте осенней ночи.

Февральская революция 1917 года освободила Каплан с каторги. Она перебралась в Читу, а затем в апреле 1917 года приехала в Москву. Прожив месяц у знакомой каторжанки, Фанни уехала в Евпаторию, в санаторий для политических амнистированных, где провела лето 1917

* Bruce-Lockhart R.H., Memoires of a British Agent, London, 1932, p. 318-320.

года. Расшатанный многолетним каторжным режимом и болезнью организм нуждался в лечении. Бурные события 17-го года пронеслись мимо полуслепой одинокой Фанни Каплан. Родные находились в Америке, а подруги, такие же бывшие каторжанки, как она сама, чувствовали себя выброшенными за борт и не могли найти место в жизни. Определить свою позицию в быстро меняющейся обстановке революции было невероятно трудно.

Одна из подруг Фанни Каплан, политкаторжанка Вера Тарасова, сформулировала это состояние довольно четко: "Я не могу ориентироваться в создавшейся обстановке. Если бы произошла реставрация, я бы нашла свое место".

Произошла не реставрация царизма, а Октябрьский переворот. Он застал Каплан в Харьковской больнице. "Этой революцией я была недовольна — встретила ее отрицательно,— писала Каплан на допросе.— Я стояла за Учредительное собрание и сейчас стою за это".

Дальнейшую эволюцию ее взглядов представить нетрудно. С возрастающим беспокойством наблюдала Фанни Каплан за происходящим в стране.

Революционные партии, десятилетиями боровшиеся с царизмом, были причислены к стану контрреволюции. Учредительное собрание разогнано. Идеалы свободы, за которые отдавали свои жизни поколения революционеров России, отброшены и растоптаны. С Германией заключен мир, тут же названный "похабным". Мутный поток демагогии захлестывал страну. В нем бесследно тонули героические усилия друзей, погибших на эшафоте, и собственные молодые годы, проведенные на царской каторге. Все рушилось, все шло прахом.

Постепенно в больном мозгу склонной к истерии Фанни Каплан зрела мысль, переходящая в навязчивую идею. Чтобы покончить с этим режимом террора и предательства, надо устранить тех, кто олицетворяет Октябрьский переворот: Ленина и Троцкого.

Весной 1918 года Каплан появляется в Москве. Е.Олицкая пишет в своих воспоминаниях, что в 1933 году в

Суздальском политизоляторе она встретила эсера Либера, лично знавшего Фанни Каплан. Он видел ее, когда она приехала с юга в Москву с решением совершить террористический акт. Каплан, по его словам, была энтузиасткой, чистой и устремленной натурой.

Позднее на допросах Каплан, не сдерживая себя, говорила, что считает Ленина предателем революции. Дальнейшее его существование подрывает веру в социализм. "Чем дольше он живет,— убежденно заявила она,— он удаляет идею социализма на десятки лет".

Ее маниакальная устремленность не оставляет сомнений, так же, как и ее полная организационная и техническая беспомощность.

Весной 1918 года Каплан обратилась с предложением своих услуг для покушения на Ленина к находившемуся тогда в Москве Нилу Фомину, бывшему члену Учредительного собрания, расстрелянному впоследствии колчаковцами. Это предложение Фомин довел до сведения члена ЦК партии эсеров В.Зензинова, а тот передал об этом в ЦК. Признавая возможным вести вооруженную борьбу с большевиками, партия эсеров отрицательно относилась к террористическим актам против большевистских вождей. Предложение Н.Фомина и Каплан было отвергнуто.*

Каплан осталась одна. Летом 1918 года некто Рудзиевский ввел ее в маленькую группу весьма пестрого состава и неопределенной идеологии, куда входили: старый каторжанин эсер Пелевин, не склонный к террористической деятельности, и двадцатилетняя девушка по имени Маруся.** Дело обстояло именно таким образом, хотя впоследствии предпринимались попытки представить Каплан в роли создателя террористической организации.

* В. Зензинов, Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г., Сборник документов, Париж, 1919, стр. 152-153.

** "Правда", 21 июля 1922г., №161, стр.3. Показания Пелевина на процессе правых эсеров.

Эта версия прочно вошла в обиход с легкой руки руководителя действительной боевой организации эсеров Г.Семенова (Васильева).

VIII. ТЕРРОРИСТ ИЛИ АГЕНТ ЧК?

До Февральской революции Семенов себя ничем не проявил. Он всплыл на поверхность политической жизни в 1917 году, отличаясь непомерным честолюбием и склонностью к авантюризму.

В начале 1918 года Семенов вместе со своей напарницей и подругой Лидией Коноплевой организовал в Петрограде летучий боевой отряд, куда вошли в основном петроградские рабочие — бывшие эсеровские боевики. Отряд совершал экспроприации и готовил террористические акты.

Из группы Семенова вышли первые предложения о покушении на Ленина. В феврале-марте 1918 года были предприняты в этом направлении практические шаги, не давшие никакого результата.

20 июня 1918 года член отряда Семенова рабочий Сергей убил в Петрограде видного большевика Моисея Володарского. Сергееву удалось скрыться.

Бурная деятельность Семенова беспокоила ЦК партии эсеров. От убийства Володарского, не санкционированного ЦК, партия эсеров отмежевалась. Самому Семенову и его отряду после резких столкновений с членами ЦК предложено было перебраться в Москву.

В Москве Семенов начал готовить покушения одновременно на Троцкого и Ленина. Последнее завершилось выстрелами 30 августа 1918 года. Попытка совершить покушение на Троцкого была неудачна. Семенов успел совершить несколько внушительных экспроприации, пока наконец не был арестован ЧК в октябре 1918 года. Он оказал при аресте вооруженное сопротивление и пытался бежать, ранив при этом нескольких чекистов.

Ему предъявили обвинение в создании контрреволю-

ционной организации, имевшей целью свержение советской власти, шпионаж, использование динамита, транспортировку бывших офицеров-белогвардейцев по ту сторону фронта. Сверх того Семенов обвинялся в оказании вооруженного сопротивления при аресте.

Всего этого перечня с избытком хватало для неминуемого расстрела. Участь Семенова сомнений не вызывала. "...Была полная уверенность, что их /арестованных,— Б. О./ расстреляют, — писала Коноплева в своих показаниях. — Вскоре выяснилось, что дело арестованных не так уж безнадежно, кроме того, Семенов от побега отказался".*

Неожиданный поворот дела объяснялся тем, что Семенов, взвесив все шансы на жизнь, понял, что спастись от расстрела он может только предложив свои услуги ЧК. Он заявил о полном раскаянии и просил дать ему боевую работу, чтобы искупить прошлые грехи. В 1919 году он выходит из тюрьмы уже как член РКП со специальным заданием работать в организации эсеров в качестве осведомителя. Этим покупалась амнистия и свобода не только для себя, но и для Коноплевой. Она остается деятельным помощником Семенова и вскоре также вступает в РКП.

Создание провокаторской сети в рядах социалистических партий шло в эти годы полным ходом. ЧК использовала прежние методы царской охраны. Особой анкетой, проведенной в Бутырской тюрьме, установлено, что из прошедших через нее с ноября 1920 г. по февраль 1921 г. 150 с лишним "человек 60 получили предложение сделаться тайными агентами ЧК и более 50 из них испытывали при этом угрозу расстрела.**

Семенову и его подруге Коноплевой угрожать не при-

*"Правда", 28 февраля 1922 г., № 47, стр. 1.

**"Двенадцать смертников". Суд над социалистами-революционерами в Москве, Издание заграничной делегации П. С. Р., Берлин. 1922, стр. 33.

ходило. Они работали не за страх, а за совесть. Заброшенный в 1920 году на территорию Польши, Семенов вместе с другими русскими был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Красной Армии. Все, кроме Семенова, были казнены. Он остался цел и, выдав себя за эсеровского активиста, вошел в доверие к Борису Савинкову. Получив от него деньги и инструкции, Семенов явился в Москву и заявил в ЧК, что Савинков поручил ему организовать покушение на Ленина. Затем выдал все — планы, деньги, явки, имена. Находившаяся с ним Коноплева осведомляла о настроениях в эмигрантских эсеровских кругах.

Достойная пара свою работу в органах ЧК не скрывала. "Правда" называла бывшего террориста и убийцу "товарищем Семеновым" и ставила его в пример другим как "настоящего революционера".

В начале 1922 года Семенов и Коноплева как по команде выступили с сенсационными разоблачениями. В конце февраля 1922 г. в Берлине Семенов опубликовал брошюру о военной и боевой работе эсеров в 1917-1918 гг. Одновременно в газетах появились направленные в ГПУ показания Лидии Коноплевой, посвященные "разоблачению" террористической деятельности партии эсеров в тот же период. Эти материалы дали основание ГПУ предать суду Верховного Ревтрибунала партию эсеров в целом и ряд ее крупнейших деятелей, уже несколько лет сидевших в тюремных застенках ЧК - ГПУ.

Процесс над партией эсеров был первым крупным политическим процессом, инсценированным с помощью доносов, клеветы и ложных показаний.

Мы коснемся его в той мере, в какой на процессе затрагивалось покушение 30 августа 1918 года и имя Фанни Каплан.

IX. ЦЕНА ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ.

Инспирированный ГПУ характер материалов Семенова и Коноплевой не подлежал сомнению.

Однажды на суде подсудимый Гендельман задал Семенову внешне невинный вопрос, где и когда он писал свою брошюру. Смутившись, Семенов ответил, что писал ее долго, а где писал он ответить отказывается.

— Вы совещались при этом с кем-нибудь? — продолжал неугомонный Гендельман.

— Совещался, — ответил Семенов, не подозревая ловушки.

— А с Г П У вы совещались? — уже прямо в лоб спросил Гендельман.

Вопрос вызвал возмущение наполненного агентами ГПУ зала суда. Воспользовавшись поддержкой, Семенов заорал:

— Вы не имеете никакого морального права копаться в правильности или неправильности моих поступков. Прямым или косвенным агентам союзников я отказываюсь отвечать на этот вопрос.*

Яснее нельзя было показать истинное происхождение материалов и показаний главного свидетеля обвинения. И все же там, где Семенов упоминал Фанни Каплан, сваливая на нее свои и Коноплевой преступные действия, подсудимые как бы молчаливо соглашались с ним. Реальная угроза смертного приговора, висевшая над головами лидеров поверженной партии эсеров, заставляла их думать прежде всего о собственной участи и не искать противоречий в показаниях против давно казненной, а большинству просто незнакомой Фанни Каплан. Ее невиновность защищать было некому.

Доказать существование террористической организации во главе с Каплан, самостоятельно готовившей покушение на Ленина летом 1918 года, Семенову не удалось. Группа Пелевина-Рудзиевского, куда вступила Каплан, подготовкой к террористическим актам заниматься не могла, так как попросту не знала, как это делается. Неумный Семенов однажды выболтал: "Представление о терроре у них было совершенно дикое. Они,

*"Правда", 18 июня 1922 г., № 134, стр. 3. Девятый день суда.

примерно, считали возможным отравить Ленина, вложив что-нибудь соответствующее в кушанье или подослать к нему врача, который привьет ему опасную болезнь".*

Известно, что Ленин не завтракал в кругу эсеров-террористов и пользовался услугами проверенных и лично ему известных врачей.

Не будем обольщаться мыслью, что представления, казавшиеся уже в 1922 г. дикими провокатору Семенову, спустя пятьдесят лет, вообще не могут обсуждаться серьезно. Книга, изданная в 1971 г., внушает советскому читателю мысль о "злодейских планах Каплан" привить Ленину заразную болезнь, не сумевшей их только реализовать летом 18-го года. Как будто их вообще можно было когда-либо осуществить.

Семенов утверждал, что он случайно узнал о существовании "группы Каплан" и принял лишь ее одну в свой отряд по рекомендации эсера Дашевского. На процессе Дашевский сидел на скамье раскаявшихся и радовал Крыленко откровенными показаниями, в которых концы не сходились с концами. Именно в лжесвидетельствах Дашевского вдруг начал выясняться поразительный факт о слабой причастности Фанни Каплан к партии эсеров. Руководители и работники партии: А.Гоц, Морозов, Е.Ратнер — Каплан не знали и с ней никогда не встречались. Пелевин, состоявший с ней в одной группе, считал Каплан эсеркой только потому, что сам был эсером.

В довершение выяснилось, что в эсеровском архиве вообще не было документов Каплан, не было даже ее фотокарточки. Эту карточку работавший тогда секретарем партии Морозов приобрел для партийного архива лишь весной 1919 года. *

Х. ПЛОД ЧЕКИСТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

Знакомство Каплан с Семеновым и вхождение ее в боевой отряд прокурор Крыленко стремился отодвинуть на

* ЦГАОР, ф, 1005, оп. 1а, д.346, л.Цит. по Голинков Д. Крах вражеского подполья, МЛ971, стр.321.

** "Правда", 22 июля 1922 г., № 162, стр. 2

июль 1918 года. Тем самым появилась возможность охарактеризовать Каплан не как новичка, а как активного и надежного участника террористической организации.

Однако режиссура процесса была поставлена из рук вон плохо. В первоначальных показаниях Коноплева утверждала, что именно в августе отряд расширился вхождением в него Каплан и нескольких боевиков-рабочих. На суде она внезапно изменила свои показания и отнесла вступление Фанни в отряд на конец июля. Поймав Коноплеву на расхождении в показаниях, подсудимый Гендельман, адвокат по образованию, сделал вывод — вступление Каплан в отряд могло произойти не раньше 12 августа.

"Если из этого хотят сделать вывод, — выкручивался Крыленко, — что у Коноплевой скверная память, то это только факт, с которым приходится считаться. Если же из этого хотят сделать другой вывод, что вообще ничего не было, то для такого вывода нет никаких оснований".*

Поскольку Каплан была мало кому известна, Семенов решил познакомить ее с кем-нибудь из руководства партии эсеров.

20 августа в Москву приехал член ЦК Донской. На следующий день Семенов устроил ему встречу с Фанни Каплан. Он представил ее как старую каторжанку, настроенную террористически, но не как члена партии эсеров. В противном случае, вся сцена представления не имела бы смысла.

О чем говорила Каплан с Донским, Семенов не слышал, так как встреча происходила на бульваре, а Семенов сидел в стороне. Впоследствии Донской рассказал подруге Каплан Ставской, приехавшей из Крыма в Москву в начале сентября, что хотел удержать Каплан от участия в готовящемся покушении, "потому что она казалась большим истеричным человеком".**

Созданная Семеновым с помощью ЧК версия подготов-

* Н. Крыленко, За пять лет. 1918-1922 гг. Обвинительные речи, М, 1923,с.261-262.

** "Правда", 22 июля 1922 г., № 162, стр.2.

ки покушения и роли в нем Каплан сводилась к следующему. Для удобства слежки за Лениным город был разделен на четыре части, в каждой из которых по пятницам, когда происходили митинги, дежурил ответственный исполнитель. Исполнителями выбрали Каплан, Коноплеву, Усова и Козлова. На все митинги рассылались дежурные разведчики с задачей сообщать исполнителю о прибытии Ленина на митинг. Исполнитель должен был явиться на митинг и совершить покушение.

Идеологическим стержнем версии являлось противопоставление пролетарской морали, не позволившей рабочим-террористам поднять руку на Ленина, беспринципному мещански-интеллигентскому сознанию Каплан.

Задача заключалась в устранении со сцены рабочих-боевиков, у которых при встрече с Лениным немедленно пробуждалась совесть. Первым такому идеологическому искусству подвергся будто бы Усов. Он, по его словам, встретил Ленина на митинге в одну из пятниц, но стрелять в него не смог.

"Вырвать Бога у полуторатысячной рабочей массы я не решился", — покаялся Усов, после чего он и был исключен из числа исполнителей. *

К этому времени рабочая совесть внезапно заговорила у другого террориста — Зубкова. Сценарий требовал столкновения двух идеологий. Зубков, по его показаниям, встретился с Каплан в одну из пятниц и передал ей свои сомнения в необходимости покушения. Не встретив со стороны интеллигентки Каплан понимания, Зубков замолчал и больше на эту тему не говорил ни с кем. Каплан, по его мнению, передала Семенову содержание разговора, так как вскоре Зубков был устранен из числа исполнителей и оставлен в числе разведчиков.

Наконец, в день 30 августа еще один исполнитель, Козлов, не выдержал рокового испытания и не нашел в себе силы выстрелить в Ленина, увидев его на митинге в здании Хлебной биржи.

* В. Владимирова, Год службы "социалистов" капиталистам, М-Л., 1927, с. 302.

"Это ты хорошо сделал", — заметил ему будто бы Зубков, встретивший взволнованного Козлова по дороге с митинга.

"Так поступили рабочие!" — мог с облегчением воскликнуть Крыленко в конце путаных и сбивчивых показаний бывших террористов, плохо выучивших свои роли.

Между тем грубо сколоченная конструкция этой версии критики не выдерживает. На суде выяснилось, что для реализации так старательно расписанных приготовлений с участием Каплан Семенову не хватало в августе пятниц. Для этого и потребовалось сдвинуть срок вступления Каплан в отряд на июль.

Беседа Зубкова с Каплан вообще не могла состояться. Зубков отнес ее к моменту неудавшегося покушения на Троцкого. Забыв об этом, Крыленко с помощью специальной справки Реввоенсовета блестяще доказал, что покушение на Троцкого приурочивалось к его отъезду из Москвы в ночь с 5-го на 6 сентября. "Даты сходятся!" — глубокомысленно заключил Крыленко.

Естественно, что встречаться с расстрелянной к этому времени Каплан Зубкову, при всей его большой рабочей совести, было как-то несподручно.

В гряде ложных показаний проясняется весьма важный факт. Вступив в отряд на последних этапах подготовки покушения, незнакомая с методами террора Фанни Каплан использовалась только для организации слежки. Коноплева, например, брала ее с собой, чтобы обучить выбору места, удобного для нападения на автомобиль Троцкого.

Позднее роль Каплан заключалась в установлении места и времени выступления Ленина на митингах и осведомлении об этом исполнителей из отряда.

Поведение Фанни Каплан выстраивается теперь в логическую цепь последовательных действий. Митинг на заводе Михельсона начался поздно. "Приехала я на митинг часов в восемь", — сообщила Каплан на следствии. Ленин еще не приехал и надо было выяснить, будет он выступать или нет. За этим занятием ее, по-видимому, и заметил до

открытия митинга председатель завкома Иванов. (Он давал показания 2 сентября, в отсутствие Каплан, и называет ее по готовой версии "той женщиной, которая потом стреляла в т.Ленина".)

Каплан стояла у стола, где продается литература, и рассматривала книги. Иванов вынес впечатление, что она это делает для видимости, а на самом деле подслушивает разговор. Она несомненно слышала, полагал Иванов, как он отвечал рабочим на вопросы, что Ленин будет на митинге. Подозрений Каплан не вызвала, так как по внешности напоминала партийную работницу.

"Я лично не видел, чтобы она с кем-либо говорила или чтобы к ней кто-либо подходил", — заключает Иванов.

К Фанни Каплан действительно никто не подходил. Получив необходимые сведения, она сама ушла до начала митинга и передала сообщение о приезде Ленина на завод районному исполнителю, дежурившему в условленном месте на Серпуховской улице. Сама же осталась ждать результата покушения там, где ее потом и обнаружил комиссар Батулин.

ХІ. СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ ПАРТИЙНЫМ СКАЗОЧНИКАМ?

Семенов уверял, что в помощь Каплан он отправил на завод Михельсона старого эсера рабочего Новикова. К моменту процесса над эсерами Новиков исчез с горизонта и на суде не присутствовал. В качестве сообщника Каплан так кстати исчезнувший Новиков сыграл на заводе весьма важную роль. Согласно легенде он пошел вслед за Лениным к выходу. Пропустил его вперед вместе с рабочими, в числе которых была Каплан. Затем нарочно споткнулся и застрял в дверях, задерживая выходящую публику. Этот эпизод был картинно обыгран в кинофильме "Ленин в 1918 году". Дальше, по Семенову, между выходной дверью и автомобилем Ленина образовалось пустое пространство,

которое и использовала Каплан. Она выхватила из сумочки револьвер, выстрелила и бросилась бежать.

Рассказ этот полностью опровергается показаниями Гиля. Ни о каком пустом пространстве не могло быть и речи, так же как об эффектно выхваченном оружии. У Каплан вдобавок руки еще были заняты зонтиком. Ленин был стиснут толпой около автомобиля в момент, когда прозвучали выстрелы.

Истоки мифа лежат в тенденциозном истолковании всех подозрительных фактов, тщательно выскребаемых из памяти очевидцев. Например, некий "михельсоновец" рассказывал ("как сейчас помню...") о подозрительном матросе, который ворвался на трибуну и стал пить приготовленную для Ленина воду (!). Затем тот же матрос будто бы растянулся у лестницы, отделяя провожающих рабочих от Ленина.* Вряд ли Новиков, будь он на заводе, стал вести себя подобным образом. Нам осталось покончить еще с одной, кочующей по страницам фальшивкой.

После того как Гиль привез Ленина на завод и остался его ждать во дворе, к нему подошли три женщины. Одна из них спросила, кого он привез?

Следуя инструкции, Гиль ответил, что не знает. Тогда одна из трех сказала смеясь: "узнаем".**

Под пером Бонч-Бруевича этот эпизод превратился в зловещую сцену, прямо обличающую Каплан. Устами "шофера Гиля" Бонч-Бруевич поведал, как, спустя 10-15 минут после приезда, к нему подошла женщина с портфелем и спросила:

"— Что, товарищ Ленин, кажется, приехал?"

Я на это ответил:

— Не знаю, кто приехал...

Она засмеялась и сказала:

— Как же это? Вы шофер и не знаете, кого возите?"

*"Правда", 30 августа 1923 г., №194, стр. 1.

**"Прол. революция", стр. 277.

— А я почему знаю? Какой-то оратор, мало ли их ездит, всех не узнаешь", — ответил Гиль и подумал: "Что это она ко мне привязалась? Какая настойчивая..."

После, на следствии, выяснилось, уверяет Бонч-Бруевич, что это и была убийца Каплан.

Сочиненный Бонч-Бруевичем разговор доверчиво воспроизвел Роман Гуль в своей книге "Дзержинский", изданной в Париже в 1936 г. и переизданной в Нью-Йорке в 1974 г. Мало того, он углубил фальшивку, снабдив подошедшую к шоферу женщину отрицательной портретной характеристикой и прямо назвав ее Фанни Каплан.

Несомненно, образ замыслившей кровавое убийство Каплан был весьма привлекателен. Однако не следует столь поспешно доверять партийным сказочникам.

Дело в том, что Фанни Каплан к шоферу Ленина никогда не подходила и с ним бесед не вела. Разговаривавшая с Гилем женщина была не Каплан. Гиль опознал ее в толпе, вышедшей вслед за Лениным, и указал это на допросе: "Среди окружавших его была женщина блондинка (Каплан, кстати, была брюнетка. — Б.О.), которая меня спрашивала, кого привез. Эта женщина говорила, что отбирают муку и не дают провозить".*

Несколько минут спустя эта женщина была ранена одной из пуль, направленных в Ленина. Ее отправили в больницу. Она оказалась кастеляншей этой больницы — М.Г.Поповой, абсолютно непричастной к покушению. Всеобщая подозрительность тех дней заставила видеть в ней сообщницу в акте покушения, намеренно задержавшую Ленина во дворе своими разговорами. Попова была арестована для следствия, но вскоре освобождена.

Бонч-Бруевич присоединил подозрительное поведение Поповой к личности Каплан. К мифу добавились внешне весьма правдоподобные штрихи, не клонуть на которые оказалось невозможным.

Как будто злой рок тяготел над головой Фанни Каплан. Все подозрительное неизменно связывалось с ее именем, трансформируясь под руками опытных фальсифика-

*"Прол. революция", стр. 277.

торов в псевдореальные факты. Из них старательно строили миф современники и историки всех убеждений и разных направлений.

ХП. КТО ЖЕ СТРЕЛЯЛ В ЛЕНИНА?

Если в день 30 августа 1918 года Фанни Каплан выполняла функцию дежурного разведчика и на месте покушения отсутствовала, кто же стрелял в Ленина?

Степан Гиль видел женскую руку с браунингом. За вычетом Каплан, этой рукой могла быть, скорее всего, рука ЛИДИИ КОНОПЛЕВОЙ. Других женщин в числе исполнителей покушения в отряде Семенова не было.

Натура решительная и независимая, Лидия Коноплева обладала солидным опытом в делах конспирации и террора. Создав вместе с Семеновым боевой отряд, она первая по своей инициативе предложила весной 1918 г. организовать покушение на Ленина. Коноплева взяла на себя роль исполнителя террористического акта и вместе с эсером-боевиком Ефимовым в марте 1918 г. выехала в Москву. Других кандидатов на роль убийцы найти не могли. "Одни были забракованы как неподходящие, другие, как Семенов, отказались", — пишет Коноплева в своих показаниях.*

Действительно, решимости этой женщины могли позавидовать выдавшие виды мужчины, террористы из боевого отряда. Ефимов ехал в Москву только как помощник Коноплевой в деле слежки. Он же обучал Коноплеву стрелять, ибо она задумала произвести покушение с помощью револьвера (испанский браунинг). Заметим, что выстрелы 30 августа были произведены из оружия этой системы.

Убедившись в безрезультатности слежки, Коноплева ликвидировала все приготовления и выехала обратно в Петроград.

Летом 1918 г. Лидия Коноплева готовила восстание на судах Балтийского флота, участвовала в нескольких

*"Правда", 28 февраля 1922 г., №47, стр. 1.

вооруженных экспроприациях, занималась переброской на Волгу и в Архангельск тех, кто хотел драться против большевиков на фронте.

Когда, после убийства Володарского, часть группы Семенова выехала в Москву, Коноплева встала во главе боевых дружин и начала готовить покушение на председателя петроградской ЧК Урицкого. Изобретательности ее не было предела. Для удобства слежки за Урицким она ходила в расположенную напротив квартиру зубного врача — лечить специально для этой цели сломанный зуб.

В конце июля 1918 г. Коноплева перебирается в Москву и присоединяется к отряду Семенова. Вступившую в августе в отряд Фанни Каплан она взяла под свою опеку, жила с ней на одной квартире и обучала методам слежки.

В отряде не было единодушия в выборе объекта покушения. Многие считали необходимым в первую очередь совершить покушение на Троцкого, придавая этому акту большое значение в военном отношении. Покушение на Ленина планировалось во вторую очередь и расценивалось, скорее, как акт политический.

На первом общем совещании отряда большинство стояло за покушение на Троцкого, в этом же смысле высказывалась и Фанни Каплан. Сама Коноплева по-прежнему стояла за покушение на Ленина.

Иступленный характер и неукротимый нрав Коноплевой пугали в свое время эсеровских руководителей. Недаром весной 1918 г. Абрам Гоц при встрече с ней советовал: "Бросьте не только вашу работу, которую вы ведете, но бросьте всякую работу и поезжайте в семью отдохнуть".*

Коноплевой было не до отдыха. Слежка за Троцким оказалась неудачной. Решили произвести покушение на того, кто первый будет встречен в благоприятной для акта обстановке. Происходившие по пятницам митинги предоставляли для этой цели удобную возможность. Давая показания в 1922 году как сотрудник ГПУ и

* ЦГАОР, ф. 1005, стенограмма 31 дня судебного процесса
Цит. по книге: Голиков, стр. 318.

член РКП, Коноплева откровенничала без меры, рассчитывая на полную безнаказанность. И только день 30 августа зиял подозрительным провалом в ее довольно связных и подробных показаниях. Глухо упоминает она, что дежурила в этот день где-то в районе Александровского (ныне Белорусского) вокзала, как можно дальше от места покушения. Свидетельских показаний, подтверждающих ее пребывание именно в этом районе Москвы, мы не имеем.

После событий 30 августа память Коноплевой немедленно восстанавливается. Как будто окрыленная успехом, она две ночи подряд дежурит с неизменным браунингом на Казанском и Нижегородском вокзалах Москвы в надежде совершить покушение на Троцкого. На этот раз память ей не изменяет. Изменяет удача. Поезд Троцкого отправляется на фронт с другого вокзала.

Сопоставление биографий и террористического опыта Лидии Коноплевой и Фанни Каплан показывает, как безбожно врал Семенов, уверяя, что лучшим исполнителем он считал Каплан. Ту Каплан, у которой, по его же словам, было совершенно дикое представление о терроре!

Несомненным является факт, что в Ленина стреляла уверенная женская рука, привыкшая пользоваться револьвером. Известно, что профессиональный террорист склонен придерживаться определенного вида оружия, близкого ему по навыкам или сложившемуся представлению об эффективности. Бомбист предпочитает бомбу, умеющий стрелять — револьвер.

Коноплева еще в феврале 1918 года выбрала браунинг, вооружила этим оружием боевиков отряда (30 августа браунинг был также у Козлова) и обучилась стрельбе. Не зная этого Каплан всего за две недели до покушения продолжала обсуждать с Пелевиным технику акта, что лучше применить: бомбу или револьвер. И это не случайно. Вся террористическая деятельность Фанни Каплан началась и закончилась в 1906 г. взрывом бомбы, причинившим вред лишь ей самой. Не имея другого опыта и не умея стрелять, Каплан продолжала считать бомбу

лучшим средством совершения террористического акта.

Таким образом, не только логика поведения, но способ покушения и определенный его стиль подтверждают версию об ответственности Коноплевои за выстрелы 30 августа.

Только один раз Лидия Коноплева проговаривается, показывая несравненно более глубокое знание обстоятельств покушения, чем можно было бы ожидать от человека, на месте совершения акта не находившегося.

В открытом письме Виктору Чернову Коноплева пишет: Каплан произвела покушение на Ленина, "ранив его тремя отравленными ядом "кураре" пулями". Сообщения о количестве выпущенных пуль и количестве ранений Ленина были в то время достаточно разноречивы. Газеты писали о двух, трех и даже о четырех выстрелах. О ранении Ленина в руку и в спину или о ранах на шее, груди и руке. Известие о ранении женщины, разговаривавшей с Лениным, еще более запутывало картину.

Лишь через полтора года после заявления Коноплевои в печати появились воспоминания лечивших Ленина врачей д-ра Обуха и д-ра Вейсброта, где впервые приводились ранее неизвестные данные. Оказывается, из числа трех пуль, выпущенных в Ленина, в него действительно попали все три. Две остались в теле, а третья пробилась лишь пиджак, не задев его самого. "За это говорит то обстоятельство, — писали врачи, — что следы от пули на пиджаке не совпадали с ранениями на теле".** Эта пуля и ранила М.Попову, задававшую Ленину вопросы.

Такие подробности Коноплева знать не могла. Ее уверенность в ранении Ленина тремя пулями базировалась на личном знании человека, стрелявшего в Ленина на расстоянии трех шагов и выпустившего всего три пули. Получить информацию из другого источника Коноплева также не могла. Если бы даже и присутствовал на заводе боевик Новиков, он не смог бы сосчитать в заводском поме-

* "Правда", 22 марта 1922 г., №65, стр. 3.

** "Правда", 30 августа 1923 г., №194, стр. 1.

щении количество выстрелов. Глухие их звуки большинство людей, находившихся в корпусе, попросту не слышало.

Сама же Фанни Каплан, делавшая на допросе пространные политические высказывания антибольшевистского характера, на вопрос о количестве выстрелов ответила с поражающей прямоотой: "Сколько раз я выстрелила — не помню".*

Ответ Каплан не являлся результатом забывчивости, но отражал истину. Невозможно помнить несовершенные действия.

Как же все-таки объяснить сделанное Фанни Каплан признание, что стреляла в Ленина она? Не забудем обстановку, в которой она впервые подтвердила свою мнимую вину. Толпа вырвала это признание у больной истеричной женщины, смотревшей в глаза смерти. Фанни подтвердила это утверждение на ночных допросах, находясь в состоянии огромного нервного возбуждения.

У нас нет оснований говорить о применении к ней в ЧК методов физического воздействия, кроме непрерывных ночных допросов. Впрочем, Петерс многозначительно замечает, как после ухода Наркомюста Курского он уже поздно ночью начал допрашивать Каплан сам "и тут она стала давать кое-какие сведения о себе". У Каплан хватило сил вступить с Петерсом в долгий спор по поводу происшедшего. Затем наступила разрядка.

"В конце концов, — вспоминает Петерс, — она заплакала и я до сих пор не могу понять, что означали эти слезы: или она действительно поняла, что совершила самое тяжелое преступление против революции, ... или это были утомленные нервы. Дальше Каплан ничего не говорила..."**

Она продолжала молчать до конца, находясь в состо-

*"Прол. революция", стр. 282.

** Петерс, Воспоминания о работе в ВЧК. "Былое", №11 (новая серия). Париж, 1933, стр. 121-122.

янии полной прострации. Такой и видел ее Брюс Локкарт.

Не будем гадать, какие причины заставили Фанни Каплан взять на свои плечи ответственность за покушение на Ленина. В революционной среде подобные поступки не являлись редкостью. Душевное расстройство Каплан остается фактом, признаваемым как современниками, так и историками.

ХШ. "ХОРОНИТЬ КАПЛАН НЕ БУДЕМ. ОСТАНКИ УНИЧТОЖИТЬ БЕЗ СЛЕДА"...

Нет ничего удивительного в существовании нескольких версий о судьбе Фанни Каплан. Странное, на первый взгляд, обстоятельство отвечает условиям создания и развития мифа. Каждая версия обслуживала различные стороны мифа в разной исторической обстановке.

Вопреки недвусмысленному газетному сообщению о расстреле Каплан 3 сентября 1918 г., встречается утверждение о ее казни ранним утром 31 августа.* В то же время Локкарт видел Каплан на Лубянке рано утром 1 сентября. Возможно, она была расстреляна сразу после этой нелепой "очной ставки". Не исключено, что постановление о расстреле вынесли задним числом, после совершившейся казни. Во всяком случае, мысль о возможном помиловании Каплан в те годы не зарождалась ни у кого.

Слухи о том, что Фанни Каплан осталась жива благодаря заступничеству раненого Ленина, поползли значительно позже. Распространяла их тюремная администрация. Разносчиками служили заключенные советских тюрем и концлагерей, якобы встречавшие Каплан (не сами, а "кто-то" видел) в роли работника тюремной библиотеки в Бутырьках, на Соловках, Воркуте, Караганде и Сибири.

В основе этих слухов лежало острое желание верить в добрые первоисточки революции, когда были еще, казалось, проблески милосердия. Гибнущие в мясоруб-

ке беспощадного террора люди стремились противопоставить кровавой фигуре Сталина образ строгого, но великодушно-справедливого Ленина.

Подобные легенды особенно трогали доверчивых западных интеллигентов левой ориентации. Согласно изданной в Израиле энциклопедии Фанни Каплан в годы жуткого террора мирно работала в библиотеке Бутырской тюрьмы и тихо умерла на 70-м году жизни в 1950 г. Авторы исказили биографию Каплан, передвинули дату ее рождения с 1890 на 1881 год, в общей сумме прибавили ей 42 года жизни.

Слухи о спасении Каплан от расстрела подкрепила своим авторитетом известная деятельница социалистического движения в Европе Анжелика Балабанова. Она посетила Ленина в момент выздоровления и задала ему вопрос о судьбе Фанни Каплан. Балабанову смущала проблема казни человека с революционным прошлым в стране победившей революции. Ленина этот вопрос смущал значительно меньше. Он не захотел распространяться на щекотливую тему и пробормотал: "Центральный Комитет решит, что с ней делать". Более впечатлительная Крупская плакала, оставшись наедине с Балабановой, и той казалось, что подобные переживания терзают самого Ленина.

Позже, пишет с торжеством Балабанова, моя интуиция подтвердилась. На Запад проникли сведения, что Каплан осталась жива и была сослана в Сибирь.*

Фанни Каплан не было в живых тогда, когда Балабанова разговаривала с Лениным о ее участии и умилялась его великодушию и своей проницательности.

На страницы советской печати эти слухи не проникали, оставаясь всецело достоянием западной публицистики. Впрочем, советская пропаганда их до поры до времени и не опровергала. Миф о Фанни Каплан сплетался с мифом о Ленине и служил двойную службу.

*Вера Владимировна, стр. 303.

W. Chamberlin, *The Russian Revolution*, N.Y., 1954, vol. 2, p. 64.

*Angelica Balabanoff, *My Life as a Rebel*, N.Y., 1938, p. 187-188; *Impressions of Lenin*. Ann Arbor, 1968, p. 11 - 13.

Конец этим беспочвенным сплетням о мягкосердечии Ленина положили записки коменданта Кремля Павла Малькова, опубликованные в конце 50-х гг.

Мальков объявил, что он собственноручно расстрелял Каплан 3 сентября 1918 года в 4 часа дня. Настойчивое утверждение Малькова о расстреле Каплан 3 сентября призвано подчеркнуть внешне законный характер этой казни. Известно, что 2 сентября ВЦИК по докладу Я.Свердлова принял решение о массовом терроре, таким образом, казнь совершалась после решения, а не наоборот.

Малькову можно было бы не поверить, но его рассказ содержал потрясающие палаческие откровения, изъятые из всех последующих изданий книги. Это заставляет относиться к ним с печальным доверием.

Был изъят, например, деловой разговор Малькова с Варламом Аванесовым о том, где лучше убить Каплан. При этом у Аванесова, "всегда такого доброго, отзывчивого, не дрогнул на лице ни один мускул". Поразмыслив, они согласились совершить казнь в кремлевском тупике, во дворе автобронированного отряда под звуки работающих автомобильных моторов.

Подобная деталь весьма правдоподобна. Сидевший в "ленинские дни" на Лубянке очевидец передает: "Расстреливали тогда где-то здесь же, во дворе, заводя при этой операции автомобиль, чтобы прохожие не слышали выстрелов".*

Возникшее было затруднение с захоронением трупа Каплан разрешил Я. Свердлов с чисто большевистской прямоотой: "Хоронить Каплан не будем. Останки уничтожить без следа"...

Картина подготовки и проведения расстрела была впоследствии изменена в корне и большей частью опущена вообще.

Мальков загнал в тупик легковую машину, развернув ее радиатором к воротам. Затем вывел во двор Каплан

* "ЧЕ-КА". Материалы о деятельности Чрезвычайных комиссий. Изд. П.С.Р. Берлин, 1922, стр.72.

и, не смущаясь присутствием случайного свидетеля — Демьяна Бедного, привлеченного шумом работающих моторов, — приступил к исполнению обязанностей палача.

"К машине! — подал я отрывистую команду, указывая на стоящий в тупике автомобиль.

Судорожно передернув плечами, Фанни Каплан сделала один шаг, другой...

Я поднял пистолет".*

Мальков убивал по всем правилам лубянского искусства — в затылок.

В "записках" Мальков пытается оправдать тяжелую обязанность — расстрел человека, особенно женщины, — справедливостью приговора.

Казнь бывшей революционерки, каторжанки противоречила русской либерально-демократической и революционной традиции.

Времена изменились. Напрасно зывала к совести Ленина сидевшая на этот раз уже в советской тюрьме Мария Спиридонова: "Как это было возможно для Вас, как не пришло Вам в голову, Владимир Ильич, с Вашей большой интеллигентностью и Вашей личной беспристрастностью не дать помилования Доре Каплан? Каким неоценимым могло бы быть милосердие в это время безумия и бешенства, когда не слышно ничего, кроме скрежета зубов. И только страх и зло повсюду, не слышно, единственно лишь речи или хотя бы звука любви" .**

Не стоит с позиции современного знания обвинять Спиридонову в чрезмерной наивности. Масштабы великой трагедии, в которую вползала окровавленная Россия, были тогда мало кому видны в полном объеме.

События 30 августа 1918 года послужили началом

*П. Мальков, Записки коменданта Московского Кремля, М., 1959, стр 160.

**Steinberg, I., Spiridonova, London, 1935, p. 236.

и оправданием Красного террора. В "ленинские дни" расстреливали в одиночку и по спискам, по приговорам и по подозрению, ожидавших суда и задержанных в случайных облавах.

5 сентября 1918 г. в Москве, в Петровском парке, в присутствии публики расстреляли свыше 80 человек. Их казнили просто как буржуев и контрреволюционную интеллигенцию. Обезумевших людей штыками загоняли в круг и выкликали на смерть по списку, сопровождая каждого издевательствами возгласами.

Казни заложников прокатились по стране. Расстреливали в Москве и Петрограде, Архангельске и Вологде, Кимрах и Себеже, Пошехонье и Курске. Иногда расстреливали семьями, по 4-5 человек.

Невозможно перечислить все города и все казни. Полагают, что за 9 месяцев, с июня 1918 по февраль 1919 г., Чрезвычайные комиссии по приговорам, т.е. не считая внесудебных расправ, расстреляли на территории 23-х губерний России 5496 человек.* Нет оснований считать эту цифру преувеличенной.

Основную массу казнили в августе-сентябре 1918 года.

Это был "ленинский набор"

XIV. КОРНИ МИФОТВОРЧЕСТВА.

Было бы большой ошибкой предполагать, что миф о Фанни Каплан родился в недрах партийного пропагандистского аппарата или лубянского ведомства. Там фантасты не работали. Поначалу деятели ЦК и ЧК не разобрались, какой неоценимый подарок подбросила им История. Не будем отрицать, что впоследствии они приложили руку к разработке общепринятой версии, но не они одни. Корни мифотворчества лежат гораздо глубже. Они уходят в систему массовой психологии и массовых представлений эпохи революции, присущих,

*Л. Спирин. Классы и партии в гражданской войне в России, М., 1968, стр. 216. Автор делает ссылку на архивы.

в известной мере, вообще людям XX века. Этим объясняется парадоксальный факт участия в создании мифа о Фанни Каплан большевиков и эсеров, партийных фальсификаторов и далеких от симпатии к коммунизму западных ученых, не стиснутых рамками цензуры тоталитарного государства.

К событиям 30 августа 1918 г. подходили не с позиций объективного анализа реальных фактов, а с точки зрения определенных, заранее абсолютизированных категорий. Главная из них — скрытая, а иногда открыто выражаемая убежденность, что в вождя и кумира русской революции русский человек стрелять не мог. Мысль о возможности покушения на Ленина со стороны Семенова или Козлова, Коноплевой или Зубкова была непостижимой, абсурдной, противоречащей логике. Не логике здравого смысла, а логике русской революции.

"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда", — сказал бы чеховский герой.

Фигура Каплан была уникальной. Ее отщепенство от России и русского народа было абсолютным. Еврейка, интеллигентка, с уехавшей из России семьей, без места в жизни и без малейшего намека на смысл существования. Она вписывалась в естественную схему "врага", не требуя поправок и дополнений. Ее роль убийцы доказывалась не уликами или вещественными доказательствами, а чутьем, происхождением и фамилией.

"Интеллигентка", "городская мешанка", "мадам Каплан!" — эти эпитеты появились раньше, чем определение эсерка-террористка.

"Ленин и мадам Каплан! — витийствовал Бухарин.— Какое "выгодное" сравнение для новоиспеченной Шарлотты Кордэ! Ленин-гений... вождь... величайший герой. И рядом с Лениным — Каплан".*

Действительно, трудно представить более удачную антитезу. Вообразите себе: "Ленин и Иванова", "Ленин и мадам Коноплева", "Ленин и Козлов".

* "Правда", 1 сентября 1918 г., №186, стр 1.

Дикость этого сопоставления была более очевидна, чем вина Фанни Кагшан. Впрочем, вину ее никто не пытался доказать. Вера не нуждается в доказательствах. Дело Каплан лежало не в плоскости судебного разбирательства, а в области религиозных представлений.

Образ Каплан становился символом, атрибутом религиозного сознания, средоточием зла. По мере того, как стержень мифа обрастал тканью, менялись эпитеты и характеристики. "Сумасбродная интеллигентка", "узколобая мещанка", "истеричка" сменились "гнусной решимостью", "мрачной и фанатичной устремленностью" и, наконец, "злодейскими планами". Миф приобретал зловещие черты обобщенного обвинительного акта. Он мог быть предъявлен кому угодно: интеллигенции, еврейству, бывшим политическим противникам.

Ленину чрезвычайно нравилась мысль об ответственности интеллигенции за покушение. М. Горькому, пришедшему навестить его после ранения, он, посмеиваясь, сказал: "Драка. Что делать? Каждый действует как умеет... За это мне от интеллигенции и попала пуля." *

Было бы просто странно, если бы творцы мифа не вложили в руки Каплан отравленное оружие. Народное чутье и здесь опередило казенное мифотворчество.

"Говорят, что у нее нашли отравленные папиросы", — загадочно сообщала газета через день после покушения.

Не ясно, зачем Каплан нужны были именно папиросы? Подсунуть их некурящему Ленину? Или пустить струю отравленного дыма в нос Вождю русской революции? Во всяком случае, толчок был дан, и мысль заработала в нужном направлении. У Семенова уже фигурируют планы отравления ленинского обеда и замыслы Каплан подослать к Ленину врача-отравителя. Наконец миф обретает каноническую форму: Каплан стреляла пулями, отравленными ядом "кураре".

На процессе 1922 г. бывшие террористы, ныне члены

М.Горький, В.И.Ленин. - Сб. "Воспоминания о Ленине" в 5т., М., 1969, т.2, стр.255.

РКП и агенты ГПУ, соревнуются в наиболее правдоподобных вымыслах по этому поводу. Коноплева уверяет, что она сама достала яд еще весной 18-го года, но... не использовала его и передала Семенову. Ефимов помнит даже форму флакона с притертой, пробкой. Козлов вспоминает склоненную над пулями фигуру Семенова с перочинным ножом и ядовитым порошком в руках. Сам Козлов, разумеется, стрелять не мог. Семенов кается в том, что собственноручно надрезал пули и посыпал их ядом, но... передал револьвер Фанни Каплан. Дальше цепочка обрывалась...

Правила мифологии неумолимо предписывали отравить Ленина недрогнувшей рукой отщепенца и инородца. Каплан удовлетворяла этим условиям.

Конечно, еврейское происхождение Каплан было бесценной находкой, не прочувствованной в 1918 г. Понимание пришло позже. В 1922 г., в день открытия суда над эсерами, "Правда" припечатала образ отравителя одуряющей ложью:

"Эсерка Каплан ранит товарища Ленина пулей, отравленной эсером Рабиновичем". Хотя фамилия Каплан никого не вводила в заблуждение, но с появлением неперемного Рабиновича все становилось на свои места. Этот бред дополнялся общей тональностью партийной печати в дни процесса. "Рабочие пальцы крепко привязывают Гоцев и Гендельманов к столбу вечного, несмываемого позора" — писали газеты. Именно вечного, ибо проклятие над евреями тяготеет вечно, из рода в род.

Старую эту идею интуитивно уловил в происходящем Бонч-Бруевич. В первоначальном издании его воспоминаний были любопытные места, опущенные впоследствии. Бонч-Бруевич описывал раненого Ленина в чисто евангельских образах: "... худенькое обнаженное тело Владимира Ильича,... склоненная немного набок голова, смертельно-бледное скорбное лицо, капли крупного пота, выступившие на лбу", — вдруг напомнили атеисту-

* "Правда", 8 июня 1922 г., №125, мр. 3.

большевику картину снятия с креста Иисуса. Внешний образ дополнялся внутренним сходством страданий Ленина с крестными муками Христа. Ленин страдал "тихо, безропотно, немощный и обнаженный, со взором, подернутым поволокой".

Развивая мысль о новом Мессии для человечества, Бонч-Бруевич приходит к идее новой Голгофы в центре России. Из этой образности закономерно вытекали проклятия тем, кто распял нового Мессию на современной Голгофе. "И это проклятие будет лежать, будет тяготеть из века в век над теми, кто сделался предателями народа...".*

Все сходилось. Исполнились сроки и времена. Удивительное, почти мистическое национальное совпадение героя и антигероя, народа-богоносца и народа-предателя делало миф о Фанни Каплан невообразимо-осязаемой реальностью.

Что из того, что смертельный из действующих ядов не убил ни Ленина, ни раненную этими же пулями Попову? Бессмертный Вождь проносил отравленную пулю в своем теле почти четыре года, ее извлекли во время операции в апреле 1922 г.

Ядовитую идею об отравлении по-прежнему преподносит миллионам доверчивых читателей официальная биография Ленина. Так, на всякий случай. Проклятие тяготеет и не снято никем. История еще не подошла к концу, не все счета сведены.

* * *

Миф о Фанни Каплан разрушен, но, как всякий миф, он будет долго цепляться за жизнь, доказывая то, чего не было.

* В. Бонч-Бруевич, Покушение на Ленина, 1923, стр. 14-16,38.

Да и стоит ли, в сущности, с ним расставаться?

Веруя в легенду о Фанни Каплан с противоположных большевизму позиций, Борис Савинков писал когда-то "Не мы, русские, подняли руку на Ленина, а еврейка Каплан;

не мы, русские, убили Урицкого, а еврей Канегиссер. Не следует забывать об этом.

Вечная слава им". *

Может быть, есть смысл присоединиться к его мнению?.

ГЕЛЬ-АВИВ, 1975 г.

* Борис Савинков перед коллегией Верховного суда СССР. Полный отчет по стенограмме суда. Изд. НКВД, М., 1924, стр. 54.



Наталья РУБИНШТЕЙН

Наталья РУБИНШТЕЙН

БЕРЛИОЗЫ-СОВРАТИТЕЛИ НА ПУТИ РОССИИ

Субъективные заметки

Национальная идея опирается не только на этнографические и исторические основания, но прежде всего на религиозно-культурные, она основывается на религиозно-культурном мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство. Так это было у величайшего носителя религиозно-мессианской идеи — у древнего Израиля, так это остается и у всякого великого исторического народа.

С. Н. Булгаков, "Героизм и подвижничество". - Сб. "ВЕХИ", М, 1909.

Бей жидов и велосипедистов!

Из анекдота.

Замечали ли вы, что на исторической арене еврея всегда ставят с кем-нибудь в пару? Так что в этом смысле приведенная выше фраза из анекдота очень точно моделирует действительность. Суть анекдота в том, что слушатель недоуменно вопрошает: "А за что велосипедистов?" За что евреев, ему и так понятно. И понятно, исторически привычно, что нужна пара.

В самом деле, даже на расстрел — в паре: "Жидов и комиссаров"; погромная облава идет на врагов Расеи, на смутителей ее — "жидов и студентов"; на газетный правед — пару: "сионистов и американских империалистов"; трамвайная дискуссия о причинах любого неблагополучия немедленно обнаруживает пару виноватых: "Развелось их, явреев и антилихентов". А недавно высокая международная организация подыскала нам совсем удивительную пару: "сионизм и расизм".

Психология антисемита досконально еще не изучена. Почему ему для ненависти нужны непременно два объекта? Видно, и антисемиту нелегко признаться, что ненависть его не имеет социологического обоснования, уходя корнями в такие дебри физиологии и идеологии, до каких ему самому не добраться. И уж если не парой, то хотя бы псевдонимом, эвфемизмом, что ли, почти художественным образом, он нас непременно наградит. Каких только имен за последнюю четверть века мы не носили! "Безродные космополиты" — это мы; "убийцы в белых халатах" — опять мы; "спекулянты и валютчики" — да мы же; "англо-франко-израильские агрессоры" — мы, мы, мы...

Ненавидеть необоснованно ни один уважающий себя антисемит не согласится. Он найдет нам вину, поставит нам кого-нибудь в пару для коллективной ответственности, в крайнем случае, спихнет на нас свои собственные провинности и будет предаваться ненависти в обстановке небывалого душевного комфорта на основе передового мировоззрения или либерально-патриотического.

РАСЩЕПЛЕННОЕ РУССКОЕ СЛОВО

По всему фронту русскоязычной литературы пролегла ныне некая заметная черта, более всего похожая на трещину, и пора нам отдать себе отчет, что же именно она, эта трещина, проступившая в сфере духовной, для нас означает.

Традиционно для России всякий нравственный и идейный поиск отливается прежде всего в литературную форму. Власти опережают события и за романы или статьи карают, как за политику. Это сильно мешает ходу идеологической дискуссии, поскольку одна сторона не имеет даже печатного станка, довольствуясь пишущей машинкой, а другая — в качестве аргументов использует судебные приговоры. Подобная местная специфика способствовала разветвлению спора на несколько потоков и зачастую мешает увидеть всю картину полностью. Но так или иначе, одна область проявления интересующих нас тенденций — открытая советская печать, где разговор принимает часто чрезвычайно специальный и вынужденно не прямой характер.

Невозможность откровенно говорить по интересующим авторов вопросам привела к появлению особого рода исследований прошлого, когда избранный предмет берется лишь для того, чтобы писатель мог обсудить хотя и не называемые, но очевидные для него и читателя современные вопросы. Такова, например, книга А. Лебедева о Чаадаеве, где реальный Чаадаев совершенно забыт, но автор имеет повод рассуждать, например, о ценности индивидуализма. Отчасти так написаны замечательные книги Аркадия Белинкова. Таковы многие книги серии ЖЗЛ, многие пьесы, романы и повести о декабристах, народовольцах и большевиках. Официально дозволенная тема служит поводом для развития недозволенных мыслей (оттого-то в сегодняшних советских редакциях ведется непримиримая война против намеков, аллюзий и того, что породило даже особый редакторский термин "непроизвольные ассоциации").

Такая методика, хотя и вынужденная, глубоко порочна: она не признает за уже свершившейся жизнью ее собственных проблем, не уважает прошлого опыта и не берет уроков у истории, но насильственно вкладывает ей в руку указку, которая двигается под диктовку нынешнего дня.

Для многих этот вынужденный принцип порой становится единственным творческим принципом, как о том свидетельствуют некоторые статьи и книги, имеющие хождение в самиздате. Но между тем именно в самиздате идеологический поиск приобретает открытую и откровенную форму.

Самиздат ныне ветвится: с демократическими изданиями соседствуют националистические украинские, литовские и другие и издания по духу своему великорусские, здесь же — документы христианско-философской мысли, а рядом еврейский самиздат с его серьезным и многообразным журналом "Евреи в СССР". Вся эта литература существует под постоянной угрозой истребления, но, будучи бесконечное количество раз истребляема, каждый раз возрождается заново, ибо потребность в ней велика.

Итак, если самиздат вторая, то третья область жизни современного русского слова — зарубежная русская печать, которая на наших глазах приобретает новые черты, по сравнению с теми, что были в прошлом.

Конечно, и прежнюю русскую литературу, сложившуюся в эмиграции, несправедливо отделять от литературы, созданной в России. На таком отделении всегда настаивало советское искусствознание: есть, дескать, русская советская литература, а есть эмигрантская, которая не только не советская, но и не русская вовсе. Но как согласиться с тем, что Б. Пастернак и, скажем, М. Бубенов принадлежат одной литературе, а Б. Пастернак и В. Ходасевич — разным? Все, принадлежащее к достижениям русского слова, — это и есть русская литература XX века, и обзор ее только теперь и становится возможным не по частям, а в целом.

Однако правда и то, что две ветви русской литературы, два побега одного и того же древа, приживлены были в разных мирах и питались разным опытом жизни.

Сегодня благодаря третьей волне российской эмиграции, прибывающей к западным берегам то одного, то другого русского писателя, выброшенного за борт государственного советского корабля за попытку к бунту, материк русской литературы един, хотя расположен на разных географических широтах.

Русское зарубежье помогает сегодняшней русской литературе осуществляться в полноте, вылавливая из океана запечатанные бутылки терпящих бедствие, но не оставляя их странствовать во времени десятилетиями, как это случилось в недавнем прошлом с прозой Михаила Булгакова и поэзией Осипа Мандельштама.

Железный занавес несколько поизносился от времени, и через дыры в нем проходят рукописи, чтобы через те же отверстия вернуться на родину в виде книги. Очевидно, что и эта часть русской словесности живет насущными нравственными вопросами современной русской жизни.

"Континент", журнал русской эмиграции, еще не обрел определенности, вместо очерченного лица перед нами колеблющийся и расплывающийся лик. Это соответствует неполной осознанности нынешней русской эмиграцией ее собственных проблем. Некие процессы уже идут, а их участники только частично осознают их характер и значение. Между тем и в эмигрантской литературе, как в открытой российской печати, так и в литературе самиздатовской, все яснее выдвигается на первый план потребность национального и духовного самоопределения, ограничения различных вкладов, до недавнего времени складывавшихся в одну сокровищницу.

Ныне в границах русского языка творится не только русская, но и русско-еврейская культура, и, хотя дело еще в самом начале, можно думать, что в этом случае самоопределение действительно дойдет до отделения.

БЕРЛИОЗ И ИВАН БЕЗДОМНЫЙ

Пока речь шла о дешевом антисемитизме кочетовско-шевцовского образца, мы имели дело только с вариантом государственного советского шовинизма, все непринужденнее использовавшим идейное наследие "Союза Русского Народа". Сегодня, когда наше внимание привлекают голоса талантливых идеологов современного русского национализма, нам следует прислушаться и задаться вопросом: не стоит ли за этими голосами подлинно совершающийся процесс? Хотя не у всех, кто его замечает, хватает духа обсудить происходящее в спокойных и достойных словах.

В восьмом номере советского журнала "Вопросы литературы" за 1975 год опубликована дискуссия о книге статей Петра Палиевского "Пути реализма". Это как раз один из тех случаев, когда тень интересующего нас вопроса легла на освещенное поле. По неожиданности идей и насыщенной манере изложения Петр Палиевский — один из самых ярких советских критиков. В его книге, как видно из обсуждения, явственно выразилась позиция консервативного и одаренного русского националиста.

В ходе дискуссии многие положения его книги вызвали возражения участников. Остановимся только на части обсуждения, связанной со статьей о романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". По известной советской традиции, участники диспута говорили невнятно, как бы перекапывая во рту горячую картошку, но между тем отлично понимая друг друга. Оставим без внимания ту часть спора, где обсуждается вопрос, кого считать гением, Велимира Хлебникова или Михаила Шолохова. В данном случае куда примечательнее, что на этом обсуждении говорилось — о чем бы вы думали, дорогой читатель? — о евреях, о их роли в судьбе России, говорилось неоднократно и, хотя и не напрямую, но зато очень интересно и в высшей степени содержательно. Как всегда,

нам одалживали чужую вину и любезно награждали новым именем.

Речь на этот раз шла не об убиении христианских младенцев и употреблении их крови в мацу, а всего только о совращении нами великого и могучего народа с его славного исторического пути. Вы скажете, что песня эта не нова, и будете правы. Но ведь это еще Чосер сказал, что нет такой новой моды, которая не походила бы на старую. Так что, хотя песня и не новая, но мода на нее пошла сравнительно недавно — лет этак десять. И тут впервые пролезло в открытую печать кое-что из возвышенно-сокровенных домашних разговоров почвеннической российской интеллигенции, брезгливо сторонящейся официальных доктрин, шевцовского усердия и выразительных карикатур из газеты "Вечерний Киев". Далее я прошу прощения за длинную цитату из речи одного московского критика, участвовавшего в обсуждении книги Палиевского. Единственный раз в дискуссии был приведен достаточно большой отрывок из книги, позволяющий судить о взглядах ее автора по интересующему нас вопросу.

— Характерна в этом плане статья о Булгакове. В центре булгаковского романа, считает Палиевский, судьба Ивана Понырева, бывшего поэта Бездомного: "он единственный по-настоящему развивается в этой книге"; "история романа разворачивается, в сущности, для него одного, потому что он один сумел извлечь из нее для себя что-то новое, чему-то научиться..." Научившись, Иван "возвращает себе собственное имя и от Бездомного начинает понимать, что существует дом, свое, через дом соединяющееся с общечеловеческим — с историей... что есть народ в этой истории, составивший и создающий его имя...". К тому же, если представить себе, сколько раз еще встретит его на этом пути Берлиоз * (или "другой", как

* Критик Берлиоз, герой романа М. Булгакова, своим реальным прототипом имеет вульгарного РАППовского критика, может быть, П. С. Когана или Л. Авербаха. В романе Берлиоз кроме еврейского происхождения отмечен крайне плоским марксистским изводом материалистического мировоззрения и полной глухотой к художественному творчеству.

говорится в романе, "еще более красноречивый"), то обольщаться насчет быстрого преодоления им трудностей не придется. Но после того как Булгаков так убедительно раскрыл смысл отношений этой пары и не менее убедительно показал, что ей суждено разойтись, многие сложности дальнейшей его дороги не выглядят такими уж темными или неразгаданными.

Вот и отыскалось нам имечко, да и вина не задержалась. Только что нам кричали, что мы "Иваны, не помнящие родства", а теперь выясняется, что мы навязали Иванам свое родство, увели их, завораживая своим красноречием, подобно Гамельнскому Крысолову, из родимого дома. Намерение автора сказать то, когда он говорит это, не укрылось от внимания споривших о его книге. И вот один из выступавших подчеркивает:

"... автор книги "Пути реализма" решительно не любит 20-е годы: именно с тех пор, учит критик читателя, "лжегении", *скрыв обиходные имена за осточертевшими псевдонимами* (курсив мой, — Н. Р.), стали сами "косить умом" и других этим недугом заразили; именно оттуда пошли "самозванцы"; именно оттуда критик ведет линию в грядущее, созвучное "летописям Смутного времени".

Если теперь перевести все эти научные красоты с перефрастического языка на обычный, то получится примерно следующее: "В 20-е годы жидам много воли было дадено, и они исказили пути нашей русской истории, а заодно и лик нашей великой русской культуры, навязав ей ненавистный еврейский акцент, обманом мешая нам распознать в них чужаков, потому что они узурпировали не только нашу культуру и наш язык, но и наши имена. Теперь, когда мы, тем или иным способом, избавимся от их участия в наших делах, мы вернемся к самим себе и продолжим наше величественное шествие в истории".

Удивительная вещь наука! Она воистину совершает

иногда чудесные превращения. Когда-то А. Фадеев, не предвидя своеобразия дальнейшего развития интернационализма на одной шестой части планеты, сделал еврея Левинсона главным героем своего романа "Разгром". Поступил он, конечно, неосторожно, потому что скоро настали совсем другие времена. Но наука и критика выручили тогдашнего Главу советских писателей, и именно за счет "умения раскрыть важные смысловые слои, не отмеченные и не оцененные другими". И во всех учебниках было черным по белому написано, что главный герой романа вовсе не Левинсон, а истинный сын народа Морозка, потому что именно его образ дан в романе в развитии, и он, начав с мелкой кражи у местных жителей, постепенно перевоспитывается и в конце героически гибнет. Вот и сегодня та же замечательная диалектика помогает литературной науке творить чудеса. На титуле романа может быть написано "Мастер и Маргарита", но "вопреки названию", исключительно по внутренней потребности критик Палиевский докажет, что не Мастер тут главный, и уж конечно не Маргарита, и даже не Воланд, а важный, но второстепенный персонаж, поэт Иван Бездомный; он и есть главный, поскольку "дан в развитии". Со времен Николая Гаврилыча Чернышевского передовая критика особенно уважает это развитие, больше уважает, чем субъективные намерения автора — ей, критике, виднее, кто где главный, а кто не главный...

Значит, ко всем нашим винам теперь добавилась еще одна: совратили мы, евреи, русскую интеллигенцию. И ведь это не один Палиевский так думает, есть и другие. А во что совратили? Один говорит — в марксизм, другой — в атеизм, третий — в православие, видя в нем "предбанник иудаизма", а четвертый — в космополитизм.

Мы с вами знали до сих пор, что русская культура нас вырастила. Мало сказать — повлияла, она нас выстроила, увела нас от себя и привела к самим себе. Мы в ней жили более ста лет и продолжаем жить и теперь. И вот теперь она, пусть устами Петра Палиевского, заметила

в себе наше присутствие и оценила его как инородное, как чужое.

КТО ВИНОВАТ?..

Русская культура собирала мед с многих цветов. Даль и Гильфердинг заложили основу ее фольклористики, Шлоцер — ее историографии, Эйлер обучал ее математике. Пушкин помнил, откликаясь в частном письме на декабрьское восстание, что "тевтон Кюхля охмелел во чужом пиру", — его лицейские друзья не помнили, что они "тевтоны", ни Кюхельбекер, ни Дельвиг. Участие немцев в деле русской культуры всегда вспоминалось с проклятием: Шумахер, склочник, досаждавший Ломоносову, — больше запомнился, чем Эйлер. На немцев же традиционно возлагалась ответственность за отрыв народа от интеллигенции: "Воскреснем ли когда от чужевластья мод, чтоб умный бодрый наш народ хотя б по языку нас не считал за немцев", — жаловался Чацкий. Историческая память прощала и проглатывала инородное происхождение в случае большой личной удачи: "великий русский ученый Бодуэн де Куртенэ", "русский мореплаватель Крузенштерн", "петербургский академик Эйлер"... Так и Исааку Левитану разрешалось побыть "великим русским художником", и Антону Рубинштейну — "замечательным русским композитором". Легко составить представительный перечень поэтов, писателей, музыкантов, художников, режиссеров, актеров, ученых, революционеров и политиков — евреев, участие которых в русской жизни во многом определило современное лицо большой страны. Для одних — этот список предмет гордости, для других — обвинительный акт, свидетельствующий об инородном вмешательстве, чуть ли не об оккупации русской культуры. Есть евреи, которые поражены сегодня чувством исторического греха перед русским народом, и результатом их покаяния можно считать появление в журнале "Континент" рассказа Александра Суконока "Мой консультант Болотин", где герой-еврей

сделан лично ответственным за нынешнее омертвление России — к рассказу есть подзаголовок: "Из цикла "Омертвление". Григорий Свирский в недавно вышедшем, но давно написанном романе "Заложники" даже математически, правда, не без иронии, вычисляет процент своей исторической вины. Поскольку "в ЦК партии большевиков, после революции, было четырнадцать процентов евреев (что соответствовало, как объявили на одном из партийных съездов, положению в ВКП /б/) ", Г. Свирский чувствует свою ответственность за судьбу русской революции только частично и приводит следующий диалог с писателем "русопятом" (это его определение, не мое):

— Сами кашу заварили...

— Виноват! — сказал я, по возможности миролюбиво. — Погубил Россию. Лично я! На четырнадцать процентов!

... — Почему на четырнадцать? А еще на восемьдесят шесть... Эт-то кто виноват?

— Ты! Лично ты!.. — И я ушел...

Хорошо бы и просто это было, если бы все решали проценты. Но что знает даже неплохо образованный интеллигент, проживший жизнь в Союзе, о напряженной работе мысли, которая шла в России в годы, предшествовавшие Октябрьской революции? Что знает он об участии евреев в этой работе? Что, например, известно ему о сборнике "Вехи"? *

"Вехи" читаются ныне, как самое свежее, только что сказанное и необходимое слово, рядом с которым многие

* Люди старшего и среднего поколений, овладевавшие передовым мировоззрением по "Краткому курсу истории ВКП/б/", помнят о веховцах-рenegатах, о растерянности гнилой либеральной интеллигенции после поражения первой русской революции. Мало кому хотелось от пересказа обратиться к подлиннику. Да если бы даже и хотелось, то не многим бы удалось. По сей день еще книги, подобные "Вехам", охраняются в спецхранах от глаз слишком любознательных читателей.

сегодняшние работы авторов, связанных с русским идеализмом, кажутся простым повторением пройденного. Между тем среди авторов сборника "Вехи" и идейно близких к ним сборников "Проблемы идеализма" и "Из глубины" процент участников, евреев по рождению, был даже выше, чем в ЦК партии большевиков. Невозможно думать, что в развитии революционно-материалистических идей еврейское влияние в России оказалось сильнее, чем в вопросах духа, к которым еврейское самосознание имеет определенное отношение на протяжении нескольких тысяч лет.

В "Вехах" русской интеллигенции был сделан упрек в легкомысленном забвении внутреннего нравственного труда, в неразборчивости средств для достижения сиюминутных целей, в недемократичности, в равнодушии к правосознанию, в готовности отказаться от лично ответственного участия в историческом творчестве, во внешнем и нестойком характере ее героизма. В "Вехах" русская интеллигенция могла услышать предупреждение и горькое пророчество о ее гибельной судьбе. Но в 1908 году ей более современным и полезным представлялось другое чтение — роман "Мать" Максима Горького и брошюра В. Ленина "Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-демократов". И М. О. Гершензон или С. Л. Франк были услышаны ею не больше, чем Н. А. Бердяев или С. Н. Булгаков. Зато Ленин и Троцкий услышаны были.

Для современного русского славянофильства участие евреев в русской культуре начинается с Петра Семеныча Когана и Леопольда Авербаха, вульгарных РАППовских Берлиозов.

Старая это тема: кто виноват в грехопадении русской интеллигенции? Немцы ли, пролезшие из развратной Европы через прорубленное революционером-самодержцем Санкт-Петербургское окно? Французы ли, импортировавшие в Россию пагубный материализм? Еврей Маркс? Или еврей Троцкий? По еврейской привычке, попробуем вместо ответов на эти вопросы предложить другие.

Почему русской дворянской интеллигенции Рылеев был понятнее и ближе, чем Чаадаев? Почему виселица не так была страшна, как беспощадная национальная самокритика? Почему "что делать" русская интеллигенция решала по Чернышевскому, а не по Владимиру Соловьеву? Почему Луначарский был ей родней и доступнее о. Павла Флоренского?

Еврейская ли часть русской интеллигенции соблазнила Россию впасть в грех бездуховности и революционных смут или она сама, эта еврейско-русская интеллигенция, была совлечена общим потоком со своих собственных путей? Возвращаясь к предложенной нашему вниманию П. Палиевским "паре" Иван Бездомный — Берлиоз, спросим себя: один тут "бездомный" или двое? и кому из них труднее отыскать дорогу домой? и нет ли у них, у обоих, некой общей задачи, которую решать они будут порознь? Задавая все эти вопросы, мы отнюдь не вслед за М. Булгаковым идем, а только вслед за его интерпретациями, которые отражают нынешнюю сложную ситуацию национально-культурного размежевания.

ИЗ ПРОШЛОГО



Наталья МИХОЭЛС-ВОВСИ

Наталья МИХОЭЛС-ВОВСИ

УБИЙСТВО МИХОЭЛСА*

Как могло случиться, что меня не мучили предчувствия, не преследовали страхи, не изводили по ночам кошмары? Ведь если б я тогда что-то почувствовала, я бы смогла его остановить, придумала бы что-нибудь, лишь бы он не поехал в Минск!

Хотя что могло удержать зловещую машину, уже пущенную в ход? Не Минск, так Тбилиси или Ленинград. Так или иначе, он уже был обречен. В то время наши гороскопы составлялись не где-нибудь, а на Лубянке. А звездочеты были палачами. Моему отцу они предначертали смерть, а то, что предначертано "там", как известно, неизбежно.

С трудом пытаюсь упорядочить лихорадочный хаос тех уже далеких дней.

...Тринадцатое января. Одиннадцать часов утра. (Каждый час этого дня, кажется, навсегда отпечатан в памяти.) На улице солнечно, ясно. Я провожаю до двери мужа, который куда-то должен уйти. Мы прощаемся на лестнице, и я с удивлением замечаю, как мимо нас пробегает к себе вверх Зускин, почему-то не поздоровавшись с нами.

* Глава из книги "Мой отец Михоэлс".

...Двенадцать часов. Я дома одна. Звонит телефон. Директор нашего театра просит моего мужа срочно прийти. Я говорю, что его нет дома, и в ответ на свой естественный вопрос "А в чем, собственно, дело?" слышу лишь маловразумительное бормотание "Да нет, ничего, позвоним попозже, пусть срочно зайдет" и т.д. Меня это почему-то не настораживает.

Минут через пятнадцать, когда муж возвращается, снова звонок из театра.

— Просят, чтобы я зачем-то пришел, — говорит муж, словно бы между прочим, и уходит.

Потом снова телефон, и с этого момента жизнь как бы раскалывается надвое: все, что было "до" и что происходило "после". Голос директора произносит слова, смысл которых в первое мгновение не доходит до сознания.

— Сейчас же приходи в театр... С папой случилось несчастье.

— Он... жив?

Мне страшно услышать ответ.

Пауза.

— Нет...

* * *

Из ворот театра выезжает машина, в которой мелькает лицо Зускина. От меня шарахается в сторону наша дежурная. Плохо помню, как поднимаюсь по лестнице и вхожу в кабинет. Из толпы актеров ко мне устремляется жена Зускина.

— Что с ним?

В ответ она прижимает меня к себе.

В тишине непрерывно звонит телефон. Кто-то приглушенным голосом отвечает:

— Это правда... Кажется, автомобильная катастрофа.

Так впервые мы узнали о гибели отца, погибшего, согласно официальной версии, в автомобильной катастрофе.

Откуда возникла эта версия? Кто первый начал ее распространять?

Это стало известно лишь спустя двадцать лет из книги Светланы Аллилуевой "Только один год". Вот что она пишет:

"В одну из тогда уже редких встреч с отцом, у него на даче, я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом как резюме он сказал: "Ну, автомобильная катастрофа". Я отлично помню эту интонацию — это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это: автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: "В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс"... Он был убит, и никакой катастрофы не было. "Автомобильная катастрофа" была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении... У меня стучало в голове. Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещился "сионизм" и заговоры. Нетрудно догадаться, почему ему докладывали об исполнении".

Что касается нас, то мы первое время даже не задумывались над тем, как это произошло. Мы только знали, что расстались всего на несколько дней, не ведая, что расстаемся навсегда.

...Страшно уходить из театра и возвращаться домой. Все происходящее пока воспринимается мною как кошмарный, фантастический сон, в который я не в состоянии поверить.

Дверь нам открывает папина жена Ася Потоцкая. Это за ней ехал Зускин, когда я его встретила. Мы с Асей ничего не говорим друг другу. Из коридора слышу голос моей младшей сестры Нины:

— Я все знаю!

Нина занималась в еврейской театральной студии. Когда там стало известно о случившемся, дирекция решила отправить Нину из студии под каким-нибудь благовидным предлогом. Ее вызвали с экзамена и куда-то послали в сопровождении соучеников.

По дороге она узнала правду, которую от нее хотели вначале скрыть...

...Мы стоим у окна, за которым метет вьюга. Из передней доносятся знакомые и незнакомые голоса. Дом быстро заполняется людьми. В комнату входит заплаканный Михаил Степанович Григорьев — профессор русской литературы и с ним большая группа незнакомых нам людей. Они пришли с какой-то конференции, состоявшейся в эти дни в ВТО. В разгар заседания по залу пронесся слух — умер Михоэлс. Заседание прервалось, и люди, не сговариваясь, потянулись к нам в дом. Позже иные из них рассказывали, что сразу "все поняли". Не знаю, не уверена. А если и "поняли", то вряд ли рискнули бы делиться своими догадками, как утверждали впоследствии.

Мы же ничего не поняли — нам было не до того.

Мы не поняли даже тогда, когда в нашу набитую людьми квартиру пришла вечером того же дня Юля Каганович — племянница Лазаря Моисеевича Кагановича — со своим мужем, известным скрипачом.

Она увела нас в ванную комнату — единственное место, где еще можно было уединиться, и тихо сказала:

— Дядя просил передать вам привет... и еще советовал, чтобы вы никогда никого ни о чем не спрашивали.

Таково было предостережение (или распоряжение?) единственного еврея — члена Политбюро Кагановича. С чего это он вдруг решил о нас позаботиться? Ведь не пожалел же он своего брата — отца Юли — Михаила Моисеевича Кагановича, бывшего Наркома, и отправил его в тюрьму на расстрел.

С Кагановичем отец встретился впервые в тридцать шестом году, когда "железному Наркому" вздумалось посетить еврейский театр.

Шла премьера "Разбойник Бойтро" Моше Кульбака, впоследствии погибшего в сталинских лагерях.

Бойтро — беглого рекрута, грабившего на дорогах богатых евреев, чтобы раздавать награбленное беднякам, — играл Зускин. Играл великолепно, как всегда покоряя

зрителей своей лиричностью, пластикой и обаянием. Спектакль был решен в плане трагигротеска.

Кагановича спектакль возмутил.

— Где вы видели таких уродов, таких кривых евреев? — не в силах был он сдержать ярости.

Гневу Кагановича мы тогда так и не нашли объяснения. Ведь установившийся советский стандарт предусматривал четкую границу в изображении досоветского и советского периодов. Если действие на сцене или в литературе протекало при советской власти, то обязательным условием было наличие "хэппи энда" при отсутствии какого бы то ни было конфликта, а героям следовало отличаться богатырским здоровьем и безупречной красотой пластмассового пупса. Если же действие происходило в "царской России", то тут допускалось большее разнообразие и не возбранялось даже показывать всевозможные бедствия, свойственные эксплуататорскому обществу, в том числе и "кривых евреев".

Но то был уже канун тридцать седьмого года, и Каганович, по-видимому, на всякий случай, предпочел проявить бдительность и рассердиться.

Михоэлс вернулся с премьеры домой подавленный. Он понимал, чем могло быть чревато недовольство одного из ближайших соратников вождя.

Но тогда его час еще не настал. Он настал позже, когда, выстрадав все муки своего народа — только таким и мог быть путь настоящего художника, — задыхаясь вместе с ним в газовых камерах, участвуя вместе с ним в восстаниях в гетто, Михоэлс стал совестью советского еврейства.

Его зрители были его паствой. А он — страстный, активный, сострадающий — их пастырем. Да только у советского народа уже был пастырь, великий, гениальный, клишированный в миллионах портретов, — разве мог быть рядом с ним еще один?!

Первая ночь. Зускин непрерывно куда-то дозванивается. (Сталину, как известно, не спалось, и вся государственная машина работала по ночам.) Наконец он сообщает:

— Нет. Они не разрешают.

Дело в том, что как только пришло известие, Зускин поехал на аэродром за билетами в Минск. У него потребовали паспорт — билеты на самолет продавались тогда только по паспорту — и тут же отказали в поездке, без всяких объяснений. Из театра, уже после того, как вернулся с аэродрома, он снова принялся дозваниваться во всякие инстанции и просить разрешения вылететь в Минск. (Просьба более чем естественная в подобных обстоятельствах.) И снова получил отказ.

...Двое суток проходят словно в тумане. Непрерывно звонит телефон, и каждый раз кто-нибудь отвечает: "Кажется, автомобильная катастрофа". Многие приходят и остаются. Некоторые уходят и возвращаются.

Поздно ночью неожиданно появляется муж Асиной кухни академик Александр Евсеевич Браунштейн. Он находился в санатории в тридцати километрах от Москвы, когда услышал по радио о "безвременной смерти руководителя Еврейского театра Соломона Михайловича Михоэлса". Остолбеневший от этого сообщения, Александр Евсеевич Браунштейн так и остался стоять посреди комнаты, затем оделся и вышел. Поезда не шли из-за сильных снежных заносов, и он побрел в Москву пешком. Несмотря на, серьезное заболевание — он страдал нарушением органов равновесия и не мог передвигаться в темноте, — все-таки добрался до нашего дома. Весь запорошенный снегом, заледеневший, с трудом шевеля посиневшими от мороза губами, он только повторял один и тот же вопрос:

— Что с ним случилось?

...Время от времени то меня, то Нину вызывают наверх в нашу квартиру, где актеры и друзья встречают и провожают бесконечный поток людей. Приходит Шостакович и рассказывает, что седьмого января в ЦК вызвали Про-

кофьева, Мясковского, его — Шостаковича — и еще нескольких композиторов. Мы тут же вспомнили, что на вокзале, седьмого, отцу уже кто-то об этом говорил и он как-то мрачно откомментировал:

— Боюсь, им придется покукарекать.

Он оказался прав. Постановление об опере "Великая Дружба" Мурадели, которым открылась кампания против "формализма в музыке", заставило многих крупнейших композиторов, в том числе и Шостаковича, умолкнуть на долгие годы.

...Наверху и внизу сменяются люди. А в кабинете отца еще долго как ни в чем не бывало сохраняется жизнь, и против воли притягивает взгляд календарь с пометкой, сделанной его рукой (а потом зачеркнутой почему-то), о какой-то деловой встрече, назначенной на двадцатое января. На письменном столе лежит недочитанный "Князь" Маккиавелли — в это время в театре велись репетиции пьесы Бергельсона "Реубени — князь иудейский", и он, как всегда, работая над спектаклем, изучал эпоху.

Смерть настолько не вяжется со всем его обликом, настолько немислима и абсурдна, что в общем настроении наблюдают, скорее, смятение и растерянность.

Моя подруга Флора Литвинова возится с моей годовой дочерью. Впервые я не знаю, чем ее покормили, кто ее уложил спать. Кто-то пытается нам что-то сунуть поесть. Кто-то пытается утешить, а из головы не выходит вопрос: успел ли он понять, что умирает? И невыносимо сознание его одиночества в последние минуты.

Ночь четырнадцатого января из Минска поступают первые известия. Портье гостиницы, где отец останавливался, сказал, что двенадцатого, часов в десять вечера, Михоэлса вызвали к телефону. Было плохо слышно, и отец говорил громко. Портье запомнил имя, которое он несколько раз называл: не то Сергей, не то Сергеев. Судя по всему, Михоэлса с его спутником Голубовым куда-то вызывали. Поговорив, Михоэлс и Голубов ушли из гостиницы. Спустя несколько часов они были убиты.

Кто мог быть этот Сергей? Среди знакомых ни Серге-

ева, ни Сергея никто припомнить не мог. Правда, был у нас знакомый — генерал Сергей Дмитриевич Трофименко. Отец с Асей познакомились с ним во время войны в Ташкенте. После войны Трофименко был назначен начальником Белорусского военного округа и жил со своей семьей в Минске.

Стали звонить Трофименко. Его к телефону не позвали. Говорили с перепуганной взволнованной женой. Сквозь плач она сообщила, что приедет на похороны, но так и не приехала. Выяснить у нее тогда ничего не удалось, хотя, по ее словам, отец у них в тот вечер не был, да и вообще, находясь в Минске, он ни разу в их доме не появлялся, и Трофименко ему не звонил.

Пятнадцатое января. Встречают Михоэлса.

На площади у Белорусского вокзала движение перекрыто. Наша машина медленно продвигается сквозь толпу. Десятки тысяч людей собрались на площади и в глубоком молчании ждут поезда с папиным телом. Какая ошеломляющая страшная тишина...

Подходит поезд. Сквозь молчание прорывается чей-то голос:

— Гробы привезли!

Тышлер так описывает этот день.

"Пятнадцатого января утром в морозный день мы встречали Михоэлса... Больше ничего вспоминать не хочется. Добавлю только: я сопровождал его тело к профессору Збарскому, который положил последний грим на лицо Михоэлса, скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс лежал обнаженный, тело было чистым и неповрежденным".

Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое, неповрежденное тело Михоэлса после "автомобильной катастрофы", вскоре были арестованы.

Вечером в тот же день начинается прощание с Михоэлсом. Посреди зала — цинковый гроб. Отец лежит со сжатыми кулаками, под правым глазом разлилась синева. Правая рука, в которой он обычно носил трость, сломана. Губы сжаты в горькой усмешке.

В эту ночь Маркиш написал поэму, в которой впервые открыто назвал случившееся убийством.

**Разбитое лицо колючий снег занес.
От жадной тьмы укрыв бесчисленные раны.
Но вытекли глаза двумя ручьями слез,
В продавленной груди клокочет крик упрямый:**

**— О вечность! Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ сберег.
Чтоб ты узнала нас, взглядевшись в эти раны.**

**Под этот струнный звон к созвездьям взвейся ввысь!
Пусть череп царственный убийцей продырявлен.
Пускай лицо твое разбито, — не стыдись!
Не завершен твой грим, но он в веках прославлен.**

Думаю, что эта поэма была одной из самых грозных уликов в деле Маркиша которого забрали в годовщину папиной гибели. 12 августа 1952 года он был расстрелян.

Между тем в зале не прекращается людской поток. Непрерывно сменяется почетный караул актеров. Время остановилось. За кулисами, переполненными актерами всех московских театров, Михаил Михайлович Тарханов целует нас со словами:

— Звонкий был человек!

За сценой музыканты играют отрывки из спектаклей.

**Течет людской поток — и счета нет друзьям.
Скорбящим о тебе на траурных поминках.
Тебя почтять встают из рвов и смрадных ям
Шесть миллионов жертв, запятанных, невинных.**

Ночью театр не закрывают. Люди часами стоят на лютом морозе, чтобы попасть в театр.

Тышлер, Фальк и Рабинович всю ночь напролет делают зарисовки — последние портреты Михоэлса.

Нас отправляют домой. Об этом распоряжается папин



1921 г. Михоэлс с актерами Еврейского театра.

Михоэлс и Немирович-Данченко.



Михоэлс и Эйнштейн.

Михоэлс с дочерью Наталией.



двоюродный брат профессор Мирон Семенович Вовси (который через пять лет окажется в числе "убийц в белых халатах").

Часа через два вернувшись, мы застали театр таким же переполненным.

Наступает утро. Большинство людей, попрощавшихся с папой, уже не уходят из театра, а остаются на гражданскую панихиду.

По сей день я не могу равнодушно читать стенограммы казенных выступлений официальных лиц с большим "похоронным" опытом, для которых панихида такое же общественное мероприятие, как встреча зарубежных гостей или чествование юбиляра. А Зускин, бедный Зускин, произнес тогда, сам того не ведая, печально пророческие слова: "Страшная потеря, невозвратимая потеря. Но мы знаем, в какое время мы живем, в какой стране мы живем".

Нет, он еще не знал, в какой стране он живет.

С Зускиным мы жили в одном доме. Они с отцом были неповторимыми, неразлучными партнерами по сцене. После Михоэлса Зускин возглавил театр. Но не надолго.

В декабре сорок восьмого года театр поехал на гастроли в Ленинград. Естественно, Зускин, как руководитель театра и как актер, занятый почти во всех спектаклях, не мог оставаться в Москве. Но, ко всеобщему удивлению, он наотрез отказался ехать.

Через несколько дней после отъезда труппы, в один из тех зимних вечеров, когда зловещие предчувствия уже не покидали нас, забежал к нам директор театра и сообщил, что к Зускину направляется целая делегация уговаривать его поехать в Ленинград. Немного посидев у нас и посоветовав на капризы художественного руководителя, он поднялся вверх к Зускину. Спустя несколько минут в квартире Зускина раздался телефонный звонок, и бледный, но какой-то непривычно решительный Зускин потребовал, чтобы все оставили комнату, в которой был телефон. Он закончил разговор, вышел из комнаты и, не сказав никому ни слова, поднялся к себе вверх. В глазах его за-

стыл ужас, по которому мы научились в те времена узнавать обреченных. Как впоследствии стало известно, с Зускина была взята подписка о невыезде, и телефонный разговор подтвердил, что он приговорен.

Прошло несколько дней, Зускина положили в больницу, где лечили электросном от нервного истощения. Дома оставалась его двенадцатилетняя дочь с двумя одинокими старыми тетками, сестрами матери, уехавшей на гастроли в Ленинград.

Утром двадцать восьмого декабря мы проснулись от шума на лестнице. Прислушались. Сверху доносился стук в дверь. У меня все оборвалось внутри, и вместе с тем еще не хотелось верить. Я машинально вглядывалась в потолок, пока минут через двадцать ни позвонили из театра и рассказали, что звонят все время к Зускиным, но там не берут трубку. Послали администратора, а он не возвращается. Не можем ли мы посмотреть, что у них происходит?

В этот момент с лестницы донесся шум, лай собаки, и, приоткрыв дверь, мы увидели, как по лестнице сверху вниз несетя, не держа, а, скорее, сам держась за собаку, наш сосед со второго этажа. Упав в кресло и задыхаясь от волнения, он едва слышно проговорил: "Они". Это мы понимали и сами, но что с Зусой? Ведь не может быть, чтобы его взяли больного, с кровати!

Да. Его забрали больного, спящего, ночью. Поволокли из больницы прямо на Лубянку. Три года и восемь месяцев держали под следствием. 12 августа 1952 года Зускин был расстрелян.

Человек наивный и трогательный, лучший актер, какого знала еврейская сцена, был убит в возрасте пятидесяти трех лет.

За что? Подобные вопросы было бессмысленно задавать.

Шестнадцатого января в четыре часа дня в театре заканчивается панихида, и мы остаемся с отцом наедине. Я держу его разбитую, поломанную руку. А до сознания все еще не доходит, что мы расстаемся навсегда.

Больше ничего не помню. Знаю только, что на крыше старого домика, напротив театра, двое суток стоял старый еврей и играл на скрипке "Кол Нидре".

За похоронной процессией ехало семь грузовиков с венками и бесконечное количество легковых машин. Официальными инстанциями не было предусмотрено, что похороны Михоэлса примут такие масштабы — толпы народа выстроились вдоль мостовой на всем протяжении от театра до крематория, — и милиция вынуждена была давать непрерывный зеленый свет, чтобы процессия двигалась без остановок.

* * *

Почему перед отъездом в Минск Михоэлс заезжал прощаться ко многим друзьям и знакомым? Это было тем удивительнее, что привыкший к разъездам, бывая по пять-шесть месяцев на гастролях, он вообще не имел обыкновения прощаться.

На этот раз он поехал к академику Петру Капице, который рассказал мне об этом примерно спустя полгода. Я расспрашивала: не заметил ли он в поведении отца что-то необычное. Капица сказал, что папа заскочил буквально на несколько минут, и единственное, что поразило его, — это сам факт визита — ведь они не так уж часто встречались.

Отправился он почему-то прощаться и с женой художника Исаака Рабиновича. В театре обошел все гримерные и пожал руку каждому актеру в отдельности.

Что все это значило? О чем он думал, оставаясь наедине со своими мыслями и, возможно, что-то предчувствуя?

После гибели отца у нас установилась традиция встречаться тринадцатого числа каждого месяца. На одной из таких встреч Маркиш мне рассказал, что в последние месяцы жизни отец стал постоянно получать анонимные письма с угрозами. Кроме Маркиша он никому об этом, как будто, не рассказывал.

"Когда он звонил мне, что идет гулять с собакой, я не-

медленно ехал к Пушкинской площади, и мы прогуливались вместе. Я боялся, что с ним может что-то случиться".

На этих встречах все разговоры вращались вокруг отца, говорилось о нем так, будто он где-то совсем рядом и вот-вот войдет в квартиру, и не было в этом никакого мистического пиетета, а просто так силен был его дух, что все мы постоянно ощущали его присутствие: то Зускин смешил нас рассказами об их совместных проделках и розыгрышах, то вспоминали его шутки, встречи в гастрольных поездках и на репетициях.

Увы, всему этому суждено было вскоре прекратиться. К концу первого года с момента гибели отца, всех участников наших, ставших уже традиционными встреч арестовали.

Однако я забегаю вперед, а тогда накануне его командировки в Минск, мы ни о чем не подозревали. Седьмого января спустились к папе вниз, где он отдавал последние распоряжения директору театра Фишману. Быстро собрали маленький чемодан и, присев перед дорогой "на счастье", отправились на Белорусский вокзал. Там уже находился московский театровед Голубов-Потапов, вместе с которым папе предстояло поехать в Минск и побывать на спектаклях, выдвинутых на Сталинскую премию. Такова была официальная цель поездки.

О сталинском "искусстве" избавляться от людей много написано. Часто удобнее было действовать вдали от шума и свидетелей. Так "бесшумно" убрали Мандельштама. Если же находился свидетель, то избавлялись и от него. Подобная участь постигла спутника отца — театроведа Голубова.

...Утром тринадцатого января труп отца нашли в глухом тупике, куда не могла заехать ни одна машина. Рядом с ним лежал мертвый Голубов-Потапов — единственный свидетель убийства Михоэлса.

Через несколько дней после похорон отца к нам явились "двое в штатском". Они сообщили, будто бы в Минске обнаружен "студебеккер", на колесах которого найдены

волоски меха. Они хотели бы сравнить их с мехом на шубе Михоэлса. Но шуба оставалась пока в Минске вместе с другими вещами отца. Правда, имелись еще две точно такие же шубы: одна принадлежала еврейскому поэту Ицику Феферу, другая — Сталину.

Ицик Фефер сопровождал в сорок третьем году Михоэлса в его поездке по Англии, США, Канаде и Мексике. Целью их поездки — "правительственной миссии", как называлась она в сводках Совинформбюро, было сплочение общественности этих стран для деятельной борьбы с фашизмом, а также сбор средств и медикаментов. Блестящие выступления Михоэлса на собраниях и митингах, его страстные призывы к солидарности с миллионами борцов против фашизма не оставляли среди его слушателей равнодушных.

Так вот, после одного из таких митингов Объединение меховщиков США решило сшить в подарок три шубы — Михоэлсу, Феферу и Сталину. Сталина папа никогда не видел, а шубу передал через Молотова. По воспоминаниям Светланы Аллилуевой она хранилась где-то в музее подарков вождя.

После их возвращения Фефер был назначен заместителем председателя Еврейского Антифашистского комитета. Бессменным его председателем с момента возникновения Комитета был Михоэлс. Перед отъездом в Минск Михоэлс позвонил Феферу и передал ему на время своего отсутствия все полномочия, связанные с руководством Комитетом. Я присутствовала при их телефонном разговоре и слышала, как папа сказал: "Прими все дела по Комитету, пока я буду в Минске".

Тем более велико было наше удивление, когда одиннадцатого отец позвонил из Минска — это был его последний звонок — и рассказал, что утром видел Фефера в ресторане за завтраком и, что самое поразительное, Фефер читал газету и сделал вид, что не заметил Михоэлса.

Почему он вдруг оказался в Минске? Почему он от всех это скрыл? Почему, когда несчастье уже случилось, он ни разу к нам не зашел? Почему из всех, кто писал и

говорил о Михоэлсе в эти дни, Фефер единственный в своем выступлении на панихиде назвал папино убийство несчастным случаем, присоединившись таким образом к официальной газетной версии?

Девятнадцатого, когда пришли те двое, заявив, что они "из угрозыска", мы позвонили Феферу и попросили захватить с шубой. До этого мы уже неоднократно звонили ему, но к телефону его не звали, и в ответ следовало что-то маловразумительное. На этот раз он приехал, правда, "сотрудников угрозыска" уже не застал. Они ушли, пообещав вернуться, но так больше и не появились. Похоже, что весь этот спектакль с "угрозыском" был устроен для того, чтобы создать видимость расследования вокруг "автомобильной катастрофы" и окончательно укрепить эту версию.

Фефер сидел, понурившись, в кресле отца и смотрел куда-то в сторону. Мы ждали от него подробного рассказа об их последней встрече (на панихиде он произнес: "В Минске в этот несчастный день я провел с ним последний час, последний прощальный обед, и расстался с ним перед этим несчастным случаем".), но Фефер молчал. И чем дольше продолжалось это тягостное молчание, тем очевиднее становилось, что спрашивать бесполезно. Не дождавшись возвращения посетителей из угрозыска, он ушел. А у нас так и не повернулся язык спросить, почему он вдруг оказался в Минске.

В ноябре сорок восьмого года Фефер снова появился у нас. На этот раз в сопровождении двух неизвестных. Одинаковые, словно униформа, габардиновые плащи, выправка, да и само выражение их лиц не оставляли никакого сомнения, откуда они.

— Дай мне всю папину заграничную корреспонденцию, — попросил Фефер.

— У меня ничего нет, — ответила я, а в голове мелькнуло: "Нет, это еще не обыск".

Тогда они у нас ничего не взяли. Сразу после их ухода я поднялась к Зускину. Выслушав меня, он начал дозваниваться к Феферу.

— Ничего страшного, просто во всем виноват "дер Алтер" — старик, — так между собой звали они папу, — ответил Фефер загадочно.

Зускин повесил трубку. Вскоре выяснилось, что в этот день проводилась проверка деятельности Антифашистского комитета, положившая начало его разгрому. Разогнать Антифашистский комитет и приступить к массовым арестам деятелей еврейской культуры было невозможно при папиной жизни. Убийством Михоэлса Сталин обезглавил еврейское искусство и развязал себе для дальнейшего руки.

Фефера взяли первым, и я по сей день не знаю, как увязать его странное поведение в день смерти отца (да и в последующие дни) с этим арестом. Впрочем, это была только одна из зловещих загадок, связанных с убийством Михоэлса.

Спустя несколько лет нам рассказали, что летом пятидесят первого года в Москву приезжал на гастроли Поль Робсон. В своей поездке по Америке Михоэлс и Фефер с ним неоднократно встречались. И теперь Робсон выразил желание вновь повидать своих "советских друзей". Ему ответили, что Михоэлс умер от воспаления легких, а Фефера — пожалуйста — можете повидать.

Приехали к Феферу на квартиру, достали из опечатанной комнаты выходной костюм и поехали за Фефером на Лубянку. Там сменили ему арестантский наряд на выходную пару и прямо из тюрьмы привезли в гостиницу "Москва" в сопровождении двух "переводчиков".

Ходили слухи, что на допросах у Фефера вырвали ногти.

Что хотели выпытать у него? В чем заставить признаться? И какие улики против убийц Михоэлса были известны ему?

Фефера расстреляли 12 августа 1952 года.

* * *

После смерти отца театр не работал семь дней. На восьмой вечер шел спектакль "Леса шумят" — последняя постановка Михоэлса. Все билеты были проданы, свободным оставалось лишь тринадцатое место в шестом ряду. Это было постоянное режиссерское кресло Михоэлса. Отец был суеверным и всегда испытывал страх перед числом "тринадцать". Оно действительно странным образом преследовало его всю жизнь. Поэтому если начало новой работы приходилось на тринадцатое число, то он делал все, чтобы перенести его на другой день. Он так страшился этой цифры, что постоянно подсчитывал номера проезжавших мимо машин. "Все время получается тринадцать" — жаловался он и, решив раз и навсегда бросить вызов судьбе, выбрал себе кресло № 13. Однако судьба не приняла его вызова и, задумав расправиться с ним, выбрала для этого тринадцатое число.

Перед началом спектакля на авансцену вышел исполнитель главной роли актер В.Шварцер и произнес: "Сегодня мы впервые открываем занавес без нашего руководителя, дорогого Соломона Михайловича Михоэлса. Прошу почтить его память вставанием". Кажется, спектакль так и не доиграли до конца — у одного из актеров стало плохо с сердцем.

Во время антракта мы зашли в гримерную отца. Над зеркалом, по обыкновению, горели светильники, освещая столик и папину коробку с гримом, так и оставшуюся открытой.

Первое время мы почти безвыходно сидели дома. Нам все чудилось, что дома мы ближе к нему и что вот-вот откроется дверь, он просунет голову и, посмеиваясь, спросит: "Ну, что я сегодня разбил?" У нас постоянно билась посуда, и, зная, что папе не влетит за разбитые чашки, тарелки и вазы, мы коварно сваливали вину на него, а потом со всех ног летели в театр его предупреждать, и он охотно включался в игру.

А теперь у дверей лежала в ожидании наша собака, категорически не желавшая выходить на прогулку, чтобы не пропустить возвращения хозяина.

* * *

Примерно в середине марта 48-го года мне позвонила Ася и попросила немедленно спуститься к ней. У меня сидела подруга, и мы спустились вместе.

Посреди комнаты мы увидели чемодан, рядом с ним в растерянности стояла Ася.

— Только что позвонили в дверь и принесли.

Мы перетасили чемодан на кресло и открыли его.

Поверх вещей лежала бумага — желтовато-серый лист, на котором наскоро, от руки было написано: "Список вещей, найденных у убитого Михоэлса".

Какой-то незадачливый милиционер сунул этот листок в предназначавшийся для передачи нам чемодан, а халатные сотрудники забыли проверить.

— Вот они и проболтались, — сказала моя подруга.

Но что из этого? Разве это может его вернуть? И что мы в состоянии сделать? Бесправные и, в сущности, никому не нужные с нашими страданиями о погибшем отце.

"Странно только, — пишет Надежда Мандельштам, — что все это делали люди, самые обыкновенные люди: "такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп, такие же судьи, как вы..." Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос: зачем?"

Зачем?..

Начали вынимать вещи из чемодана. Сверху лежала шуба. На меховом воротнике сзади остался след запекшейся крови. Такой же след на шарфе. Палка сломана. Часы. Стрелки остановились: без двадцати девять.

— Значит, утра, — почти беззвучно сказала Ася. — Ведь вечером в десять он еще был в гостинице.

Вынимаем костюм. На дне чемодана содержимое карманов. "У Миши (так звал он отца) не карманы, а письменный стол" — говорил Саша Тышлер. Ручки, зажигалки, записные книжки, деньги, трамвайный билетик и, наконец, "талисманы".

С самого раннего детства, сколько я себя помню, отец, суеверный, как все актеры, просил у меня перед отъез-

дом на гастроли какую-нибудь игрушку на счастье — "талисман". Так я и думала в детстве, что талисман — это маленькая игрушка. За многие годы у него набралась целая коллекция талисманов. Одну за другой вытаскивали мы из чемодана маленькую куколку, крохотный игрушечный автомобиль с приставшим к нему табаком, какие-то стеклянные шарики и, наконец, резинового негртенка — последний талисман, подарок моей дочери.

Извлекаем из боковых карманов костюма документы и наши семейные фотографии. Среди документов "Командировочное удостоверение, выданное гражданину Михоэлсу Соломону Михайловичу с 8-го января по 20-е января 48-го года". Паспорта мы не находим. Тут только обращаем внимание на то, что свидетельство о смерти выдано на фамилию Михоэлс, в то время как по паспорту (а в СССР свидетельство о смерти выдается только на основании паспорта) папа носит двойную фамилию — Михоэлс-Вовси. Следовательно, свидетельство о смерти было оформлено на основании командировочного удостоверения, выданного на фамилию Михоэлс, а паспорт поторопились отвезти куда следует в качестве доказательства, что "операция" выполнена.

* * *

Был у отца обычай приносить нам семнадцатого марта, в свой день рождения, букетики подснежников. Он выгребал их совершенно измятыми из карманов шубы, с приставшим табаком и бумажками от конфет и с торжественной улыбкой вручал по букету Асе, сестре и мне. А в карманы он засовывал цветы, "чтобы не замерзли".

В характере его причудливо сочеталось полное безразличие к быту и отсутствие семейных навыков с каким-то суеверным трепетом перед выработанными им же самим домашними традициями. В нашей безалаберной жизни не было никаких признаков налаженного бы-

та: никто не заботился о планомерном обзаведении имуществом — сервизами, буфетами и прочим, — но, сколько я себя помню, с самого детства у нас строжайшим образом соблюдалась традиция, заведенная самим отцом, — обедать всем вместе. И как бы он ни был занят, какие бы заботы ни обременяли нас самих, даже тогда, когда я уже вышла замуж, мы, верные этому семейному обычаю, всегда обедали вместе с папой. Правда, обед этот чаще можно было назвать ужином. Не помню случая, чтобы он состоялся в назначенное время.

В этот день, 17 марта 48 года, — в первый без папы день рождения — я решила купить на Пушкинской площади подснежники для Аси и сестры. На Тверском бульваре я встретила Зускина. Он шел не один и сделал мне знак, чтобы я его подождала.

— Слушай, я только что говорил с Шейниным. Он собирается ехать в Минск по следам "дела Михоэлса".

Лев Шейнин был тогда начальником следственного отдела Министерства Внутренних дел. Как могло прийти в голову этому опытному и достаточно искушенному человеку заняться таким опасным делом? Это осталось для нас загадкой. Вскоре Шейнин действительно отправился в Минск. По приезде он был снят с работы и арестован. Ему дали десять лет, но вышел он в пятьдесят пятом году. На протяжении всех этих лет, вплоть до его смерти, мы с сестрой искали встречи с ним. Но Шейнин этой встречи всячески избегал.

Как-то к нам на дачу забежала моя приятельница, которая жила по соседству, и сообщила, что к ним с мужем приехал погостить Лев Шейнин. Я немедленно отправилась к ней, но Шейнина уже не застала, а муж приятельницы признался, что, пока его жена бегала за мной, он просто душно рассказал гостю, что здесь на соседней даче живет семья Михоэлса и ему, Шейнину, вероятно, будет интересно познакомиться с нами. В ответ на это Шейнин вдруг заторопился, и, сказав, что заехал только на минутку, сел в машину, и, не задерживаясь, уехал.

Что ему было известно? Что удалось ему выяснить в

Минске? Об этом он так никогда никому не рассказал. Впрочем, со слов одного человека, встретившего Шейнина в лагере и однажды разговорившегося с ним, Шейнину как будто удалось выяснить, что убийцы поначалу предлагали Михоэлсу сотрудничать с ними. И, получив решительный отказ, принялись жестоко избивать его. Но достоверность этого рассказа ничем не проверена, а с Шейниным, повторяю, встретиться так и не удалось.

Да и не только Шейнину преподнес Архипелаг Гулаг урок, который раз и навсегда отбил людям охоту возвращаться к "делу Михоэлса". Однажды летом шестьдесят шестого года я приехала на пару дней с дачи и обнаружила в двери записку от Симы Маркиша с просьбой позвонить.

— Тебя разыскивает одна женщина. Телефона у нее нет, так что прямо поезжай к ней. Вот ее адрес, — сказал он мне.

По его тону я поняла, что не стоит задавать никаких вопросов, и мы с дочерью тотчас же поехали. Такси долго кружило по московским окраинам, где дома располагались по таинственному, по установившемуся на всех новостройках принципу, когда за блоком номер двадцать два следует, скажем, блок сто пятьдесят семь. Наконец нужный дом был найден.

Нам открыла молодая, болезненного вида женщина, назвавшаяся Сусанной.

— Я давно хотела познакомиться с вами. Мне нужно вам что-то рассказать, — сказала она, укладываясь на диван и укрываясь пледом. — Извините только, что я лежу, у меня что-то с сердцем.

Мы уселись возле нее, и Сусанна начала рассказ.

Ее забрали в сорок восьмом году еще совсем молодой девушкой. Получила она десять лет лагерей строгого режима без права переписки. Ее направили на корчевку леса куда-то на Дальний Север. Примерно в марте сорок восьмого года к ним в лагерь попала одна девушка из Минска. Лиза С., так звали девушку, которая оказалась соседкой Сусанны по нарам. Вместе выходили они на работу, вместе возвращались "домой", в зону. На

обычные лагерные расспросы: сколько получила, по какой статье осуждена — Лиза отвечала лишь, что по статье 58/10 за анекдоты. Но однажды ночью, когда все спали, Лиза шепотом, на ухо, рассказала Сусанне свою историю.

Она была студенткой педагогического техникума в Минске. Однажды зимой она возвращалась откуда-то домой. Было уже очень поздно. Проходя по переулку, в котором находился театр, она обратила внимание на двух мужчин, выходящих из ярко освещенных дверей театра. В ту же минуту послышался звук мотора, и грузовик с выключенными фарами устремился из-за угла на две заматавшиеся фигуры. Лиза оцепенела от ужаса. Глаза отказывались верить увиденному. Двое бросились на противоположную сторону улицы, грузовик рванулся за ними. Тогда они метнулись обратно к театру, но машина загнала их к стене дома. Они прижались к ней, и грузовик несколько раз их ударил. Они сползли на землю, из грузовика выскочили какие-то люди, но Лиза больше ничего не видела. Она бросилась в ближайшее отделение милиции и сообщила дежурному милиционеру обо всем, что произошло на ее глазах. Ее почему-то задержали. Продержали три дня в милиции, а затем вызвали к следователю, который, записав все ее данные, вдруг без всякого предисловия резко спросил:

— На каком основании вы, гражданка С, утверждаете, что Михоэлс и Голубов были убиты?

Лиза не поняла. Имя Михоэлса ей было известно, но о его смерти она не слышала и не произнесла ни слова. Все ее заверения, что она ничего подобного не утверждала, утверждать не могла и понятия не имела, кого преследовал грузовик, не помогли. Она получила десять лет строгого режима, — закончила Сусанна.

Наши попытки в дальнейшем встретиться с Лизой С. ни к чему не привели. Она так же, как и Шейнин, избегала знакомства и встречи с нами.

А меня по ночам с тех пор преследует один и тот же кошмар: мы с папой гуляем по Тверскому бульвару, и вдруг на нас начинают один за другим валиться огром-

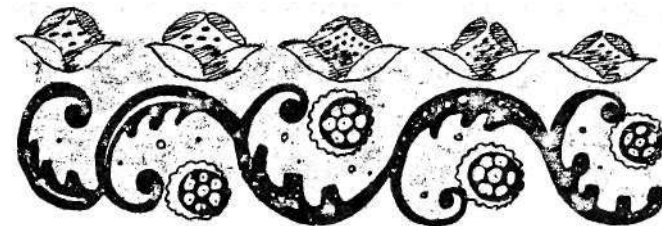
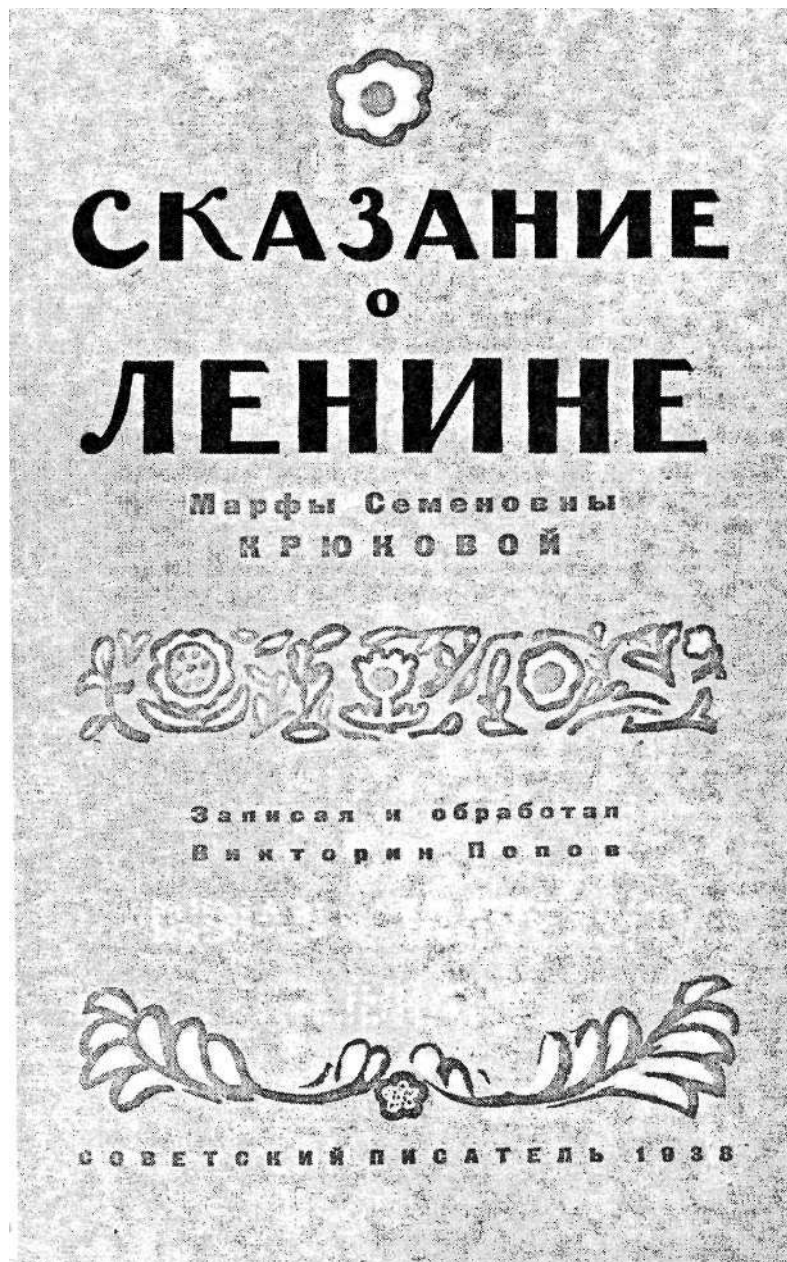
ные самолеты. Мы в ужасе ищем, куда бы спрятаться, но тяжелая темная тень неумолимо надвигается на нас — и я просыпаюсь в холодном поту.

И, в тысячный раз перебирая в памяти мельчайшие подробности версии, переданной Сусанной, я ищу ответа на вопросы, которым до сих пор не нахожу объяснения.

Почему папа, вечно окруженный толпой, вышел из театра в сопровождении одного лишь Голубова? Значит ли это, что они там никого не застали? Но ведь кто-то же должен был там быть, кто знал папу в лицо и дал сигнал машине. Кто же он?..

Как вообще он оказался в театре в такой поздний час? Может быть, этот Сергей или Сергеев вызвал их из гостиницы, чтобы задержать у себя до ночи, а затем под каким-то предлогом отправить в театр? Успел ли папа понять, что умирает? Когда он почувствовал опасность?

Проходят годы, а туман не рассеивается. Путаясь в версиях и догадках, я пытаюсь пробиться сквозь их дебри к истине, которая отдалается все дальше и дальше, чтобы навеки остаться тайной.



ЮМОР МАРФЫ СЕМЕНОВНЫ КРЮКОВОЙ

"СКАЗАНИЕ О ЛЕНИНЕ"

Мы отнюдь не уверены, что выдающаяся советская сказительница Марфа Семеновна Крюкова, перу которой принадлежит около ста пятидесяти шедевров соцреализма, когда-нибудь подозревала о наличии у нее чувства юмора. Испытывая неодолимое влечение к созданию монументальных поэтических полотен, Марфа Семеновна обращалась прежде всего к героическим сторонам жизни. Поэтому она никоим образом не могла обойти вниманием образ Великого Вождя революции, посвятив ему свое поистине бессмертное творение - "Сказание о Ленине". Но как у подлинного творца соцреализма, спонтанный, искрящийся юмор Марфы Семеновны прорезается едва ли не на каждой странице ее произведения.

К сожалению, мы лишены возможности полностью воспроизвести это бессмертное творение, опубликованное издательством "Советский Писатель" под редакцией Степана Щипачева и насчитывающее 51 страницу убористого поэтического текста. Но, думается, что и приведенных отрывков будет достаточно, чтобы раскрыть не замеченную никем из критиков юмористическую сторону творчества Марфы Семеновны Крюковой. Публикуя эти отрывки, мы, разумеется, считаем себя не вправе допустить хоть какое-то вмешательство в ее первозданный былинный стиль и столь же первозданную былинно-песенную орфографию.

Сталин зашел, с ними свиделся,
Ленин садил гостя, все усаживал,
Жона начала угощать питьем-кушаньем,
Ищо стал тогда Ильич у Сталина все выпра-
шивать:

"Ты скажи-ка, друг мой, Сталин-свет,
Про родину про нашу да про отчину,
Как дела идут, какие обстоятельства?"
Отвечал же он ему во подробностях:
"Народ весь огрублен да не в приятности.
Бой-то идет да все ведь понапрасну,
Не за то народ хочет бороться".
Когда все-то Ленин повыслушал,
Не мог он на стуле усидетися,
И говорил-то он Сталину таковую речь:
"Такого положеньица терпеть никак нельзя,
Поезжай-ка ты обратно во Россиюшку,
Пусть берут крестьяне-чернопахари слегги дол-
гомерные.

Пушай сделают народы великое восстанье
Против царя-кровососа, против Николашки,
Против купцов толстобрюхих и урядничков,
Уж поставим на это дело всю нашу партею!"

х х х

Дорогой-то вождь тут приезживал.
Как встречали его народ со честью, со ра-
достью,
С честью, с радцртью, со веселым удоволь-
ствием.
Стал тут Ленин говорить народу правду су-
щую.
"Надо кончать войну, она не к надобью.
Надо забирать ключи государственные
У помещничков, у заводчиков".

Как услышали да таковые речи
Помешнички, заводчики да енералы с офице-
рами.
Направляли они против Ленина пушку скоро-
стрельную.

Штоб не приводил он народ во смущеньице.

Народ взял-схватил вождя в охачпку.
Увезли Ленина в одну во деревенку.
Из прутиков из ракитовых шалашик ему
сделали,

А самого его одели в одежду пастушью,
Дали ему в руки рожок берестяный,
Будто он пастушок же есть,
Не могли отыскать его да погубить опричники,
Народ знали про шалашик, да не сказывали,
Получали народ от него разные предписаница
Да по его совету они вели дела.
По утру было, по утру ранному,
По восходу соньца красного,
Выходил Ильич да из шалашика,
Умывал же он свое лицо белое
Ключевой водой, холодной,
Утирал лицо да полотенчиком,
Да как взыграет он во рожок берестяный,
Весь народ да услышал его,
Весь народ сходились да скоплялись
Повернули славну землю-матушку
На другую на стороночку, на справедливую,
Да забрали ключи от Россиюшки
У тех помещничков, у заводчиков.

Герои поэмы Марфы Семеновны Крюковой



Иосиф Сталин — верный друг и соратник Ильича.

В ту тяжелую пору, во тревожное времячко
Великая досадушка случилась с вождем

Лениным:

Он поехал по всем заводам по московским
Рассказать народу про дела, про положеньице,
А в ту пору, в ту минуточку
Змея лютая подкралася,
Она ужалила, ударила вождя Ленина,
Немного не дошла до милого сердечушка.
Она сделала рану очень глубокую,
Очень глубокую, злодейка, очень ядовитую.
Тогда падал он да на сыру землю,
Клади-то его на носилочки,
Приносили его в комнаты во кремлевские
Ко его ко милой жоне,
К Надежде Константиновне.
Занесли его — она ужахнулася,
Она посылала за славными за лекарями,
Сама выбегала из своей из горницы,
Добегала она до зелена садочка,
Рвала она да мураву траву,
Рвала разные листочки зеленые,
Да накладывала на раночку горячую.
Когда Ильич пришел в сознанице,
Приказал он призвать к себе Сталина.
Подошел он да ко кроваточке,
Сказал Ильич ему да таковы слова:
"Такое пришло сейчас времячко,
Могут всех нас, всех повыгубить,
Все народное наше право приразрушить,
Ты пойдди, помоги своею силой богатырскою,
Штоб наша Красна славна гвардия,
Она штоб приободрилась
Да своей храбрости прибавила!"
Сталин немного он разговоривал,
Того приказаница он не ослушался,
Надевал он платыице военное,
Он брал себе да все добра коня,
Он поехал да скоро-наскоро.
Не ясен сокол да тут полетывал,
Улетел сокол да во чисто поле,
Как уехал-то добрый богатырь,
Добрый богатырь Иосиф Сталин.

х х х

Как съезжались народы да скоплялись
Как садились они в заседанице,
Как советы мудрые держали они:
"Кому быть да в управителях?"
На единого свое избраннице положили,
На Владимира Ильича, вождя Ленина,
Всю Россиюшку ему-то поверили-доверили,
Вождю Ленину да со помощничками,
Со всей партией большевической.
Принял он ключи золотые да от всей земли,
Назначил себе во помощнички друга Сталина,
Во служеньице брал себе людей из простых
родов,
Из простых родов да из бедности.

х х х

Герои поэмы Марфы Семеновны Крюковой



В. И. Ленин, Н. К. Крупская, Август-сентябрь 1922 года.

Х Х Х

Расцветала, процветала славна родина
советская.

По-хорошему да очень по-чудному.

Все народы-то взвеселились,

Да все пошли да по-приятному.

От дел, от чувств, от великих радостей

Ильича здоровьице стало поправлятися.

Но на беду такую на минутую тут случилось.

Тут случилось, приключилося.

Неприятности случились через злодея

Троцкого,

Стал он разрушать дела, порушивать,

А с лукавства с того со злодейского

Подлости разные затевать,

Хотел обманом народ прельстить,

Народ прельстить, забрать под стару власть.

От той от змеи, от злодейки лютой,

От ее раны от глубокой, ядовитой,

Как втора изменушка приключилася,

Владимир Ильич от досадушки растреложился,

Он призвал да скоро Троцкого,

Выговаривал ему да таковы слова:

"Ты живешь-работаешь да все ведь злым умом.

Все ведь злым умом, умом вражеским,

Ты побрось-покинь неприятности лукавые!"

Злодей вилявый был, как лукавый змей.

х х х

Память о тебе, о великом вожде, содержать в
сердцах своих,
Вечно будет про тебя вспоминаяице,
Вспоминаяице, тяжелое вздыхаяице!"

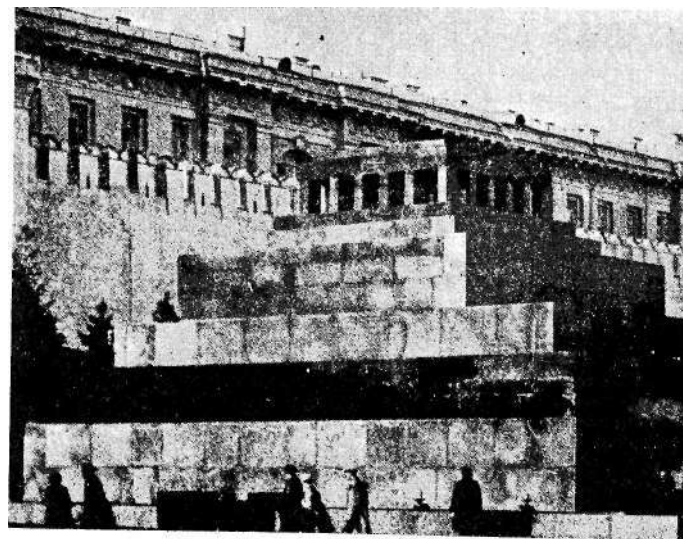
А мавзолеей стоит на славной Красной площади,
Он ведь сделан из камня чудна браманту.

Эти камешки все народы несли.

Каждый народ принес по едину камешку,

И соорили народы гробный домичек,

В нем лежит Ильич, почивает он.



Гробный домичек (Мавзолей В. И. Ленина)



МОЗАИКА

— Я несчастный человек — вот что!

— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе не хватает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

— Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?

— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных?! В разное время? Я, признаюсь, думал, что больше.

— Нет, не в разное время, — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, — не в разное время! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

— Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

— Оказывается — меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие

пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

— Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, — я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

— Мо-за-ики?

— Ну да, знаешь такое — из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

— Как же это вышло? — в ужасе спросил я.

— Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может — отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину — стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

— Да это действительно похоже на мозаику.

— Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составила лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал — как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

— Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

— Как записываешь?

— В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откры-

венности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

— Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

— Спасибо. Вот видишь — скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: "Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано".

Он почесал углом книжки лоб.

— Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется, я получаю истинное наслаждение: очень люблю ее! Здесь есть подробности: "Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив, о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушн. ко мне..." Теперь дальше: "Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при постороннн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.".

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

— И так далее. Понимаешь ли — я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть... Частенько случалось, что я Китти называл "дорогой единственной своей Настей", а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова "спать". И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

— А они... тебе верны?

— Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро — это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который, когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Та-

кому человеку, так же, как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

— Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

— Нет,— отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы.— Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь — у Насти, которая живет на другом конце города.

— Как же ты устроишься?

— Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне,— я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился задумчивый, что-то соображающий.

— Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

— Что ты делаешь?

— Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь — почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

— А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

— Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

— А зачем ты кольцо снял с пальца?

— Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтобы я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей — надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то — кому они сказаны и по какому поводу.

- Несчастный ты человек,— участливо прошептал я.
— Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получены были от него странные телеграммы:

"2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это".

И:

"Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены".

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира — для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

— Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете — его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

— Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.

Узнал я об этом по возвращении Кораблева, от него самого.

III

— Как же это случилось?

— Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника, жулики выгащили. Я делал публикации, обещал большие деньги — все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

— А по памяти восстановить не можешь?

— Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей — целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю —

нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи "Лотос" — Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может — пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто — перчатки? Кто подарил мне галстук с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня именно и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной — "я знаю кем!?" Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

— Бедняга ты! — сочувственно прошептал я. — Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, "остерег. Елены...". Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает. Настю — не прятать? Или нет — Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

— Не з-наю! — простонал он, сжимая виски. — Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

— Еду к ней!

— Сними кольцо, — посоветовал я.

— Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

— Тогда надень темно-зеленый галстук.

— Если бы я знал! Если бы знать — кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за своего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

— Ну что? Как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

— Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

— Что случилось?..

— Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось. Захватил перчатки и поехал к Соне. "Вот, дорогая моя Ляля, — сказал я ласково, — то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие...". Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. "Поезжайте, — сказала она, — к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту от-

вратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу". "Маруся,— сказал я,— это недоразумение!" "Конечно,— закричала она,— недоразумение! Конечно, недоразумение, потому что я с детства — не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!" От нее я поехал к Елене Николаевне. Забыл сиять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: "Почему у моей Китти такие печальные глазки?" ...лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова "спать" и, изгнанный, помчался к Китти спастись обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

— А остальные?— тихо спросил я.

— Остались двое: Маруся и Дуся. Но это — ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши — будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски? Где же женщина? Где гармония?

— Как так?— вскричал я.

— Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

— Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой. Я призадумался.

— Кто?.. Ах, да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

— Милый! Познакомь!

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Из Советского Союза приехала одна моя дальняя родственница, которую до этого я ни разу не видел, но тетка категорично написала в письме, что я обязан ее навестить. Таким образом я попал в маленькую гостиницу на улице Аякон в Тель-Авиве. В нее, примостившуюся среди шума машин, выхлопных газов, летающих по ветру обрывков газет, проституток, иностранных туристов в купальных костюмах, валяющихся по углам остатков пит с недоеденными фалафелями, по совершенно диковинному распоряжению Министерства Абсорбции, поселили стариков и старушек, приехавших из России.

Я сидел на втором этаже в маленькой комнате с кроватью, стулом, газовой плитой у раковины и с напряжением разбирал торопливое бормотание моей престарелой родственницы — причудливая смесь воспоминаний о прошлом, жалоб на настоящее, сплетен двадцатилетней и двадцатиминутной давности. Я узнал много до сих пор мне неизвестных фактов из жизни моих близких, большей частью нелестных для них, услышал характеристики почти всех постояльцев гостиницы и, конечно, узнал, как они тут развлекаются. Старожилы, то есть те, кто прожил тут по два-три года, два раза ездили в Иерусалим на экскурсию и также два раза сажали в Галилее деревья на Тубишват. Это крупные развлечения. А мелкие — это внутренние проблемы, сидение по вечерам на террасе и иногда концерты. Не зная, что делать с нахлынувшим из Советского Союза потоком музыкантов, чтецов-декламаторов, силовых акробатов, исполнителей танцев народов СССР и других творческих работников, воспитанных в духе соцреализма, Министерство Абсорбции выдвинуло лозунг: "Развлечение репатриантов — дело самих репатриантов". Я почему так распространяюсь о концертах, потому что как раз должен был состояться концерт и меня уговорили на него остаться.

В назначенное время мы спустились по лестнице в ручейке постояльцев, бормочущих, кашляющих, задыхающихся от одышки. Концерт устраивали в холле, довольно-таки большом помещении с распахнутыми на Аякон окнами, с вентиляторами, лениво разгоняющими мух под потолком. Ни открытые окна, ни вентиляторы не спасали от удушливого хамсинного вечера. Мно-

гие старушки были вооружены вывезенными из СССР китайскими деревянными веерами, памятью былой нерушимой дружбы двух великих народов. Те, кто не был так предусмотрителен, расхватали лежащие на столе издания Министерства Абсорбции на русском языке: "Что такое банк?" и "Справочник для студента".

Слышу, что выступать будет какой-то скрипач, тоскливо скриплю своим стулом в такт остальным. Потом входит он.

Я сразу узнал его — видел несколько раз в России. Он был первой скрипкой в одном из лучших оркестров. Объездил многие страны мира с гастрольями. Все подаванты, отъезжанты, отказанты знали его. Когда евреи в очередной раз собирались, чтобы обсудить отъезд, и если инженеры-механики со стажем и знанием английского более или менее уверенно смотрели в будущее, то хмурые химики-теоретики тревожно выслушивали сообщения о том, что химия в Израиле в загоне, а совсем безнадежные литературологи и искусствоведы робко жалась у стенок и молили Бога, чтобы на Мандельштаме или на Михоэлсе как-нибудь вывез, и когда, как единственный надежный вариант рассматривалось приобретение для жены вязальной машины, — тогда кто-нибудь обязательно вспоминал этого музыканта, и все единодушно сходились на том, что уж у него-то все будет хорошо. Кто-нибудь из кандидатов физико-математических наук глубокомысленно замечал, что скрипка — народный еврейский инструмент и поэтому наверняка скрипачи в Израиле окружены особым почетом. И вообще там музыкальная культура на высоте.

И вот теперь этот человек канифолил смычок перед полдесятиком изнывающих от духоты старцев. Всё не начинали. Как выяснилось из разговоров, ждали представителя какой-то организации, которая помогает пожилым музыкантам с трудоустройством. Для этого следует представить разнообразную и интересную для публики программу, и тогда помогут с устройством концертов — наш музыкант уже второй год жил в стране, а до сих пор ни один оркестр его не принял из-за возраста.

Наконец пришел представитель — молодая красивая блондинка с отличной фигурой. Она садится в кресло — концерт начинается.

Уличный шум иногда заглушает скрипку, но это не мешает наслаждаться музыкой. Во-первых, я люблю Баха, а во-вторых, я уже три года в Израиле и за все это время ни разу не был на концерте. Партита номер один, сарабанда. Я не большой знаток музыки, но это произведение знаю. Он кончил, и старушки реденько захоптели. Блондинка в своем кресле невозмутимо курила американскую сигарету. Теперь я заметил жену музыканта. Она подошла к нему и что-то долго шептала на ухо, поглядывая на

блондинку. Его жена — очень приятная женщина, у нас она преподавала в консерватории, хотела вместе с мужем создать в Израиле бесплатную музыкальную школу для одаренных детей из бедных семей.

Она отошла, и он снова заиграл. Честно говоря, я меньше всего ожидал услышать полонез Огинского, но это был полонез Огинского. Старушки заерзали, заскрипели, обрадовались — услышали что-то знакомое — и в этот раз хлопали уже гораздо бодрее, даже с энтузиазмом.

А потом началось вообще что-то странное. Он начал играть разные веселые идишские и русские песенки. Играл он с таким выражением лица, словно извинялся: "Приходится на публику работать, никуда не денешься, может, все-таки повезет с работой". Старушки совсем расчувствовались, даже подпевали. Кульминация наступила, когда одна из них, одетая в пестрый халат и тапки, не усидев на месте, подскочила к нему и, обняв за плечи, страстным голосом запросила, чтоб сыграл "Синий платочек".

В это время красивая представительница объясняла что-то жене музыканта, и та пыталась сквозь дребезжащий богдельный хор разобрать нюансы интеллигентного иврита. Потом концерт кончился, старушки растаскивали стулья по углам, в самом центре холла жена рассказывала своей подруге, что представительнице все очень понравилось. И приятельница кивала головой — ей тоже понравилось, только, может, включить в программу "Очи черные"?.. А что, это мысль. Обязательно. "Очи черные". Музыкант убирал скрипку в футляр, и мы, мучаясь одышкой, отдыхая на каждой третьей ступеньке, поднимались в комнату моей родственницы.

Шломо Школьников,
Питхат Рафиях
Ямит

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ИЛЬЯ СУСЛОВ. (См. первый номер журнала).



ГРИГОРИЙ ЦЕПЛИОВИЧ. Театровед и литературный критик. Родился в 1908 году в г. Луга, Петербургской губернии. В первые годы после революции вместе с родителями переехал в Латвию. С юношеских лет Григорий Цеплиович занимается журналистикой, пишет сатирические театральные произведения, которые ставятся на сцене латвийских театров. После войны в течение 20 лет он был режиссером в Рижском театре юного зрителя. Ему принадлежит ряд драматургических произведений и научные критические статьи в области этики и эстетики. В 1966 году репатриировался в Израиль. В настоящее время работает в Доме Шолом Алейхема, занимается изучением и систематизацией литературного архива писателя.

РЕДЬЯР КИПЛИНГ. (См. второй номер журнала).



АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. Поэт и драматург. Родился в 1919 году. Окончил студию Станиславского. С 1945 года становится профессиональным драматургом. Галичу принадлежат пьесы "Вас вызывает Таймыр", "Будни и праздники", "Походный марш", "Матросская тишина", кинофильмы "Верные друзья", "Третья молодость", "Бегущая по волнам" и многие другие. Особенную популярность в СССР и за рубежом Галичу принесли его стихи-песни, разошедшиеся в России в магнитофонных

записях. В 1968 году Галич был исключен из Союза советских писателей, из Союза кинематографистов и Литфонда. В 1974 году Галич эмигрировал из СССР на Запад.



НАТАН ИОНАТАН. Поэт. Родился в Киеве в 1923 году. В 1925 году приехал вместе с родителями в Израиль. С 1945 года Натан Ионатан — член кибуца "Сарид". Первое его стихотворение появилось в 1941 году. Изданные книги его стихов: "Полевые тропинки" (1945 г.), "К серым нивам" (1954 г.), "То, что мы любили" (1957 г.), "Между весной и облаком" (1959 г.) — сборник рассказов для молодежи. Книга стихов "Вдоль берега" (1962 г.), сборник стихов "Море во время заката" (1970 г.), книга стихов "Стихи" (1974 г.) посвященная памяти сына, павшего в войну Судного дня. Эта книга переведена в 1975 году на английский язык. Многие стихи Натана Ионатана положены на музыку, часто исполняются и весьма популярны. Натан Ионатан работает редактором отдела прозы в "Сифриат Поалим" и преподает литературу в Педагогическом институте "Ораним".

МИХАИЛ ТРОППЕР. (См. второй номер журнала).



АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Физик, профессор Тель-Авивского университета. Родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил физико-математический факультет Харьковского университета в 1954 году. С 1955-1972 год работал в Научно-исследовательском институте физико-технических и радио-технических измерений, вначале научным сотрудником, а затем заведующим отделом. Александр Воронель является создателем и одним из первых редакторов широко известного в Израиле и на Западе самиздатовского сборника "Евреи в СССР". Репатриировался в Израиль в 1974 году.

БОРИС ОРЛОВ, (См. первый номер журнала).

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. (См. второй номер журнала).

НАТАЛИЯ МИХОЭЛС-ВОВСИ. Родилась в 1921 году в Москве. Училась на театроведческом факультете Государственного института театрального искусства, а затем в Институте иностранных языков. Работала в качестве переводчика в различных издательствах Москвы. Была директором театрального Музея имени Михоэlsa при Государственном еврейском театре. Репатрировалась в Израиль в 1972 году.



DIGEST OF THIRD ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

ILYA SUSLOV. Last Year's Snow

The scene of this short novel is laid in the Soviet Union, from the early fifties (that is, Stalin's time) to the mid-sixties of this century. The leading character is a young Russian Jew who is often harassed because of his being Jewish: he is turned down by the University when he wants to enter it, he is not hired by an office which badly needs employees he is even denied the right to join the Navy. But he takes all this lightly and ridicules those who try to discriminate against him. The novel which is witty and humorous bears, however, very profound social message and depicts vividly the oppressive character of life in modern Russia.

GRIGORY TSEPLIOVICH. The Happiest Man and Game.

In these short stories the author analyzes man's inner world; with irony and compassion, he tells about man's dream which never comes true but, nevertheless, always inspire the dreamer .

RUDYARD KIPLING. Jews in Shushan.

This powerful and deeply humanistic, though not well known, short story by the great English writer tells about the troubled life of poor Jews in a small town in India and about their ever-deferred dream of building a synagogue of their own. The short story has never been translated into Russian before.

ALEXANDER GALICH. The Prophet and The Sands of Israel.

These poems written by the outstanding Russian poet and appearing in print for the first time are devoted to burning social issues of modern Russia.

NATHAN IONATHAN. Poems. Translated by Lia Vladimirova.

Nathan Jonathan is a contemporary Israeli poet. His poems which are characteristic of one of the dominant trends of modern Israeli poetic tradition appear in Russian translation for the first time.

MICHAEL TROPPER. Aliya (immigration) Seen by a Psychiatrist.

Continuation.

The essay discusses some psychological and psychoanalytical aspects of new immigrants' life in Israel. Cf. Vremia i mi, № 2

ALEXANDER VORONEL. Andrey Sakharov and Contemporary World.

The essay, written by a noted professor of mathematics and former Soviet dissident now living in Israel, tells about the life and political actions of Academician Sakharov, a great scientist who challenged the oppressive Soviet regime in behalf of the oppressed and who fights for implementation of human rights in the Soviet Union.

BORIS ORLOV : The Fanny Kaplan Myth. Continuation.

NATALIA RUBINSTEIN. Berlios the Seducer Standing in Russia's Way.

The essay discusses the roots of anti-semitism in Russia's spiritual life, analyzes the interrelations between anti-semitism and Russian nationalism in contemporary Russian culture, and traces the beginning of the process of delimitation of Russian literature and Jewish Russian-language literature.

NATALIA MIKHOELS-VOVSY. The Assassination of Mikhoels.

The great Jewish actor's daughter recalls the last days of her father's life and some events preceding his tragic death. Her memoirs depict vividly the atmosphere of that time (1947 - 1948) when Stalin began his savage reprisals against the leading Jewish intellectuals in the Soviet Union. The author adduces evidence of Stalin's being involved in the assassination of Mikhoels, and tells the details of this assassination.

MARFA SEMYONOVNA KRUKOVA. The Legend of Lenin.
(in the section of humour).

These are some extracts excerpted from the long poem written by a narrator of folk tales in late thirties. This long poem, written in full seriousness, contains such a vast number of stylistical and other absurdities that can now be regarded as a brilliant piece of humour.

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах: повести Ильи Сулова "Прошлогодний снег" (окончание) и Виктора Некрасова "Персональное дело коммуниста Юфы", роман Невила Шюта "На берегу", отрывки из книги Фаины Баазовой "Прокаженные", интервью с исследователем в области социологии и футурологии Иерусалимского университета доктором Зеевом Кацом "Евреи в постиндустриальном обществе", статьи проф. Льва Тумермана "Израиль: Европа или Азия?", Вадима Меникера "Эффективность израильской науки" и другие.

УСЛОВИЯ подписки

В ИЗРАИЛЕ

на 3 месяца - 49 лир 50 аг.

6 месяцев - 99 лир.

9 месяцев - 148 лир 50 аг.

12 месяцев - 198 лир.

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев - 19.60 \$

на 12 месяцев 39.20 \$

Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев - 78 F.FR.

на 12 месяцев - 156 F.FR.

Цена номера в открытой продаже - 19 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев - 46 DM

на 12 месяцев - 92 DM

Цена номера в открытой продаже - 10 DM

Художник Лев Ларский,
Корректор Нина Островская,
Технический редактор Наталия Ларская,

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Ибн-Гвириоль, 23/6
п. я. 24123, Тель-Авив.**

Тел. 295852.

**Типография издательства "Панорама", п. я. 31087, Тель-Авив.
ул.Рош-ПИна, 22.**

MONTHLY "TIME AND WE".
Ibn-Gvirol St., 23/6, Tel-Aviv, Israel.

Tel. 03-295852
P.O.B. 241 23 Tel-Aviv



Михоэлс в роли ребе Алтера, 1921 год